Свет очей моих

История одной асимметричной любви



ВЛАДА МАРИ

Влада Мари

Свет очей моих. История одной асимметричной любви

«Автор»
2026

Мари В.

Свет очей моих. История одной асимметричной любви / В. Мари — «Автор», 2026

Её убивали заботой и таблетками. Она выжила, чтобы сгореть дотла и родиться заново.Один его взгляд обрушил под ней землю. А вскоре она нашла книгу, изданную в год их рождения. На выцветшем форзаце — его имя, выведенное его рукой. В выходных данных — её собственное имя: она была редактором этого издания в другой жизни. Мистика? Судьба?Только он уходил до рассвета, оставляя ей чужие правила. И был вопрос, на который он так и не ответил

© Мари В., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Чай 6
Глава 2. Феникс перед зеркалом 12
Глава 3. Городок, которого нет на карте 17
Глава 4. Опасность с той стороны зала 25
Глава 5. Первый танец, первый вдох 33
Глава 6. Правила, которые он устанавливает 44
Конец ознакомительного фрагмента. 52

Влада Мари
Свет очей моих. История одной асимметричной любви

Все персонажи вымышлены. Любые совпадения случайны.
© Влада Мари, 2026

Глава 1. Чай

Утро пришло серым, будто кто-то забыл прибавить свету. М. проснулась раньше будильника — как в последние месяцы просыпалась почти всегда, за минуту-две до звонка, словно тело больше не доверяло сну, боялось пропустить что-то важное. Она лежала на спине, не двигаясь, и слушала себя, как слушают чужой дом ночью, вздрагивая от каждого скрипа.

Сердце шло неровно. Не сильно, не пугающе — просто сбивалось с шага, как человек, идущий по неровной мостовой: раз, два, три — заминка, лишний удар, короткая пустота, будто оно на долю секунды забывало, зачем стучит, а потом спохватывалось и снова частило. В груди лежала тяжесть, знакомая, ставшая почти домашней, — плоский холодный камень под левым ребром, и она давно перестала удивляться его весу.

«Усталость, — сказала она себе, как говорила уже который месяц. — Работа. Возраст. Сорок четыре — не двадцать, милая моя, пора привыкать».

Она умела успокаивать себя. Этому её научила жизнь — гасить тревогу, разглаживать её, как разглаживают складку на дорогом платье, чтобы не было заметно, что оно висело смятым в тесном шкафу. Стресс. Совещания до ночи. Кофе вместо обеда. Всё логично, всё объяснимо. Объяснимое не страшно.

Она села, спустила ноги на холодный пол и переждала минуту, пока комната перестанет чуть заметно покачиваться, а прохлада паркета остынет в её ступнях до простого утреннего холода.

На кухне уже пахло свежезаваренным чаем.

— Проснулась? — Он обернулся от плиты, улыбаясь так тепло, что чужой человек умилился бы. — Садись. Я тебе с бергамотом заварил, ты любишь.

Он поставил перед ней чашку — бережно, придержав пальцами блюдце, чтобы не звякнуло. Пар поднимался ровной струйкой, растворяясь в сером свете окна. Он придвинул сахарницу, потом ложку, потом полотенце положил под руку — на всякий случай, будто она была стеклянной и могла разбиться от одного неловкого движения.

М. смотрела на эту заботу и чувствовала — вот оно, опять — то самое, чему не находила названия. Забота его не согревала. От неё делалось зябко, как от сквозняка из-под двери, который не видно, но кожа знает: где-то щель. Она обхватила чашку ладонями, ища тепла в горячем фарфоре, и поймала себя на нелепой, стыдной мысли: почему он так пристально смотрит, пью ли я?

«Прекрати, — оборвала она себя, и щёки у неё загорелись от собственной несправедливости. — Человек тебе чай подал. Что за дрянь ты в себе носишь. Столько лет вместе. Стыдись».

Она отпила. Чай был горячий, душистый, с бергамотом. Обыкновенный чай.

— Спасибо, — сказала она и улыбнулась ему той ровной улыбкой, которую надевала поверх всего, как надевают на лицо привычную маску перед выходом на люди.

Он кивнул, довольный, и отвернулся к плите.

А потом это началось.

Сначала — глухой толчок в груди, будто сердце оступилось и полетело вниз по лестнице, перепрыгивая ступени: удар, удар-удар, тишина, длинная, страшная тишина — и вдруг частая, захлёбывающаяся дробь, от которой в горле встал ком. По спине от лопаток вниз потекла холодная струйка. Ладони мгновенно взмокли, и чашка стала скользкой, тяжёлой, чужой.

— Мне… — начала она и не узнала своего голоса.

Левая рука наливалась чужой тяжестью, немела от плеча к пальцам, будто её опускали в ледяную воду. М. осторожно, очень осторожно поставила чашку — руки дрожали, фарфор дробно стукнул о блюдце — и опустилась на стул, хватаясь за край стола здоровой рукой.

Комната поплыла, свет из серого стал белым, звенящим, и в этом звоне утонули все остальные звуки.

«Дыши, — приказала она себе. — Вдох. Считай. Выдох. Так учили. Дыши ровно».

Он был рядом уже — она не заметила, когда он оказался у стола, — и телефон уже был у него в руке, и он уже говорил в трубку, спокойно, чётко, называя адрес, возраст, симптомы, будто зачитывал заранее приготовленный текст: онемение левой руки, боль за грудиной, холодный пот. Всё правильно. Всё по учебнику. Так быстро, так гладко, что где-то на дне сознания, сквозь ватную панику, шевельнулась ледяная, неуместная мысль — как хорошо он это знает. Как ловко у него выходит.

Она задавила эту мысль, потому что дышать было важнее.

Потом были руки в перчатках, чей-то ровный голос — «женщина, смотрите на меня, как вас зовут», — прохладная присоска датчика на груди, тугой жгут на предплечье. Её переложили на носилки, накрыли, застегнули ремень поперёк тела. Лестничная площадка. Лифт, в котором пахло железом и валерьянкой от соседской двери. И вот уже — потолок.

Белый больничный потолок плыл над ней длинной, бесконечной лентой: плитка, лампа, плитка, тёмный квадрат вентиляционной решётки, снова лампа. Носилки чуть подрагивали на стыках, катились быстро, и она смотрела вверх, в этот белый поток, и ждала внутри себя страха смерти — того самого, о котором пишут, — и не находила его. Вместо страха пришла одна ясная, тихая, до нелепости бытовая мысль, кольнувшая острее всякой боли:

«Я не позвонила сыну. Он не знает. Если сейчас — он даже не будет знать».

От этой мысли по вискам потекло горячее, и она зажмурилась.

Потом всё стихло.

К вечеру её перевели в палату. Аппарат за спиной попискивал ровно, размеренно — сердце, оказывается, наконец пошло в шаг. Приходил врач, немолодой, усталый, листал бумаги и хмурился. Осматривал ленту кардиограммы, качал головой.

— Знаете, — произнёс он наконец, снимая очки и растирая переносицу, — а ведь ничего. Понимаете? Ни инфаркта, ни ишемии — сердце у вас, простите за прямоту, крепкое. Как у молодой. Эпизод. Так и запишем — эпизод. Понаблюдаем, обследуем. Иногда, знаете, нервы такое творят с человеком…

Он ушёл, а она осталась лежать на высокой жёсткой койке, глядя в темнеющее окно, за которым зажигались чужие окна чужих спокойных жизней — тёплые квадраты, где кто-то ужинал, смеялся, жил, не зная о белом потолке.

Сердце у неё крепкое. Как у молодой.

Тогда — что же с ней происходит?

И впервые за все эти месяцы, впервые за годы, М. позволила себе додумать мысль до конца — не оборвать на середине, не разгладить, не спрятать. Она лежала в темноте и слушала ровное биение прибора, и внутри, очень медленно, очень страшно, поднималось из глубины то, чего она так долго не хотела знать:

что-то не так. Не с сердцем.

С жизнью.

* * *

Дом встретил её так, будто ничего не случилось. Всё стояло на своих местах: те же шторы, тот же запах натёртого паркета, та же ваза на комоде в прихожей — тяжёлая, хрустальная, доставшаяся от свекрови. Из кухни тянуло чем-то тёплым, наваристым, и это тепло, вместо того чтобы обнять, отчего-то легло на грудь глухим камнем.

Он вышел ей навстречу с цветами. Большой букет белых роз, ещё в целлофане, с капельками воды на лепестках, — такие покупают заранее, продумав, приготовив. Он держал их перед собой обеими руками, как держат подношение перед алтарём.

— С возвращением. Напугала ты нас всех.

М. взяла цветы. Пальцы сомкнулись на прохладном стебле, и в ту же секунду по спине прошла быстрая, необъяснимая волна — не радость, не благодарность, а что-то другое, тёмное, тонкое, вроде сквозняка из щели, которой не должно быть. Она стояла, прижимая к себе розы, ощущая их влажный, чуть приторный аромат, и не понимала, откуда это. Цветы. Обычные белые розы. Почему от них хочется отступить на шаг.

— Спасибо, — сказала она и услышала, как ровно звучит собственный голос. Слишком ровно.

Он улыбнулся, забрал у неё сумку, повёл на кухню, усадил, поставил чайник. Всё правильно. Всё заботливо. И от этой правильности внутри всё сжималось сильнее, чем от боли в больничной палате.

Сын приехал под вечер. Влетел в прихожую, сбросил ботинки, обнял её крепко, слишком крепко, так что она услышала, как гулко бьётся его сердце сквозь куртку, и тут же начал сыпать шутками — про больничную кашу, про то, что она нашла способ отдохнуть от работы, про врачей в смешных колпаках. Он смеялся, а глаза не смеялись. Глаза смотрели на неё пристально, ощупывающе, с той тревогой, которую он изо всех сил заталкивал под смех и не мог затолкать до конца.

— Мам. Ты правда как себя чувствуешь? — спросил он тихо, когда они на минуту остались вдвоём, и вся его весёлость сползла с лица, как сползает грим.

И в его глазах она вдруг увидела то, чего сама ещё не решалась назвать. Оно было там — голое, детское, отчаянное. Он смотрел на неё так, будто уже потерял её однажды и теперь боялся снова.

М. отвела взгляд. Не выдержала. Улыбнулась куда-то в сторону окна, за которым дотлевал закат.

— Всё хорошо, солнышко. Врачи говорят — сердце крепкое. Нервы просто. Работа.

Он кивнул. Оба знали, что она сейчас соврала. Ни один не сказал об этом вслух.

Потом настали недели покоя. Обманчивого, стеклянного покоя, в котором так легко себя убедить, что всё позади. Она вернулась на работу, снова надела каблуки, снова вела совещания, подписывала бумаги, улыбалась. Тело слушалось. Дни катились ровно, один за другим, как бусины на нитке, и она почти поверила.

Почти.

Потому что тело помнило то, чего не хотел помнить разум. И однажды, помешивая ложечкой в чашке, слушая, как тонко звенит металл о фарфор, она вдруг поймала себя на том, что считает. Что отмечает. Что становится хуже не абы когда — а после. После вечернего чая, который он всегда заваривал сам, «покрепче, чтоб ты согрелась». После ужина, когда он особенно настойчиво подкладывал ей на тарелку. Наутро после таких вечеров сердце сбивалось с ритма, немела рука, накатывала слабость.

Она отгоняла это. Совпадение. Мнительность после больницы. Так и врач говорил — нервы. Она отгоняла, а рука сама отставляла чашку недопитой.

Второй раз ударило под утро.

Резче. Страшнее, чем в первый. Грудь стиснуло так, что перед глазами поплыли чёрные круги, дыхание сорвалось в короткие, рваные глотки, и она едва дотянулась до телефона. И снова — его спокойный голос, его быстрые, отработанные руки, «дыши, дыши, я уже вызвал». Снова носилки, снова лифт, снова белый поток потолка над лицом.

Но в этот раз в машине скорой, среди воя сирены и попискивания аппаратуры, к ней пришло не бытовое, не про сына. К ней пришёл отец.

Он умер несколько лет назад, и с тех пор она не чувствовала его — только помнила. А сейчас он был рядом. Не воспоминанием, не образом — присутствием, живым, тёплым, плотным, будто он сел рядом с носилками и положил ей руку на лоб, как в детстве, когда у неё был жар. Она даже повернула голову — так явственно это было. И под этой невидимой

ладонью страх вдруг отступил, и стало тихо, ясно, и сквозь эту тишину пробилось одно: он тревожится за неё. Он здесь потому, что тревожится.

За что? — хотела спросить она. Но потолок уже плыл, и мысль оборвалась.

Ночью в палате она не спала.

Аппарат за спиной попискивал ровно. За окном горели чужие окна. А в ней самой, в темноте, медленно и неотвратимо складывалась картина — та, что складываться не хотела, та, которую она столько месяцев разбирала по кусочкам и прятала по разным углам памяти.

Два раза. Оба — под утро, после его чая, после его ужинов. Оба раза — идеально по учебнику, онемение руки, боль за грудиной, холодный пот, будто кто-то заранее знал, как это должно выглядеть. И оба раза — его спокойствие. То самое спокойствие, от которого в первый раз шевельнулась на дне сознания ледяная мысль: как хорошо он это знает. Ни дрожи в руках. Ни паники в голосе. Человек, у которого на глазах умирает жена, так не звонит в скорую. Так звонит тот, кто уже проиграл этот звонок в уме. Много раз.

И крепкое сердце. Крепкое, как у молодой, — сказал усталый врач, снимая очки. Сердце, которое дважды за несколько недель едва не остановилось само собой.

М. лежала неподвижно, глядя в темноту, чувствуя под лопатками жёсткость казённого матраса, и внутри неё что-то холодное и очень ясное, без истерики, без слёз, произнесло раздельно, будто чужим, спокойным голосом:

это не случайность.

И под этим голосом впервые за долгие годы стало не страшно, а трезво. Отец сидел где-то рядом в темноте палаты, она чувствовала его, и он ждал, когда она наконец увидит.

Она увидела.

* * *

Она не заметила, как соскользнула в сон. Не было ни забытья, ни той вязкой, тяжёлой дремоты, что накрывала её обычно после лекарств, — просто моргнула, а больничного потолка уже не было. Провал, чистый и резкий, как шаг с обрыва в тёплую воду.

И воды не было. Была светлота.

Пространство без стен, без потолка, без углов — только рассеянный, мягкий свет, какой бывает ранним летним утром, когда солнце ещё за холмом, а всё вокруг уже дышит им. Так светилось у бабушки во дворе в детстве: молочный туман над травой, роса, седая на паутине между кольями забора, и запах — тот самый, ни с чем не сравнимый запах прогретой земли и мокрой сирени, от которого щемит в груди и хочется без причины плакать. Она вдохнула — и он был здесь, этот запах, живой, настоящий, будто ей снова семь лет и всё ещё впереди.

Здесь было тихо. Не пусто — тихо. Так тихо, как бывает только в самом надёжном месте на свете.

Отец стоял рядом.

Он не вышел из темноты, не появился, не приблизился — он просто был, будто был здесь всегда, а она только сейчас повернула голову и увидела. В той же клетчатой рубашке, в которой она помнила его в последнее хорошее лето, с закатанными до локтя рукавами, с этими его руками — большими, тёплыми, с въевшейся в костяшки чёрточкой машинного масла, которую он так и не отмыл до конца никогда. Живой. До боли, до немоты живой.

Она знала, что он умер. Знала это ясно, всем существом, как знают во сне вещи, которые наяву не помещаются в голове. И знала, что это важно — важнее всего, что случалось с ней когда-либо. И потому молчала. Стояла и молчала, боясь одним неверным словом, одним движением спугнуть его, разорвать эту тонкую, светлую ткань, на которой он держался.

Он смотрел на неё. Долго.

В его взгляде не было ни укора, ни печали — ничего из того, чего она боялась бы наяву. Только любовь — та огромная, спокойная, не требующая ничего взамен любовь, которой она не встречала больше ни у кого и не думала уже встретить. И ещё что-то — под этой любовью,

сквозь неё. Что-то торопящее. Срочное. Так смотрят, когда времени осталось совсем мало, а сказать нужно самое главное, и другого случая не будет.

Он открыл рот. Она успела подумать — сейчас он назовёт её по имени, как называл в детстве, тем особенным, только ему принадлежащим голосом. Успела потянуться к этому всем сердцем, всей кожей.

— Встань и беги.

Три слова. Тихо. Совсем тихо — он даже не повысил голоса, сказал их почти шёпотом, как говорят самое сокровенное. Но она услышала их не ушами. Они вошли в неё целиком, всем телом — прокатились от макушки до пят, как удар большого колокола, от которого дрожит воздух и дрожат кости, и ещё долго стоит в груди медный, гудящий след.

Встань. И беги.

Свет качнулся.

Её ударило по плечу — резко, коротко, будто кто-то тряхнул за плечо, требуя проснуться. Она распахнула глаза в темноту.

Палата. Попискивание аппарата за спиной, ровное, монотонное. Синеватый отсвет приборной панели на потолке. Чужие окна за стеклом. Всё то же, что было, когда она закрывала глаза.

И сердце.

Оно билось ровно. Спокойно, размеренно, надёжно — впервые за столько месяцев, что она уже забыла, каково это, когда оно просто бьётся и не пугает. Ни тяжести под грудиной, ни ледяного пота, ни того подкатывающего к горлу ужаса, что подстерегал её теперь в каждую тёмную минуту. Ничего. Только эта тихая, ровная работа под рёбрами — живая, послушная, её собственная.

Она лежала неподвижно, не смея пошевелиться. Боялась расплескать.

Три слова стояли в ней.

Они не гасли, не таяли, как тают обычные сны, стоит только открыть глаза, — они, наоборот, разгорались, наливались светом, становились всё яснее с каждой секундой. Стояли в самой середине её, в том месте, где месяцами копилась глухая, безымянная тревога, — и тревоги там больше не было. На её месте был свет. И приговор. И освобождение — всё это разом, неразделимо, одним слитком.

Встань и беги.

Она не стала думать над этим. Не стала — впервые за всю свою жизнь женщины, привыкшей всё раскладывать по полочкам, проверять, перепроверять, искать разумное объяснение любой дрожи в груди. Здесь не было чего проверять. Здесь было — знание.

Она просто знала. Знала так же верно, так же телом, как знала бы запах дыма, потянувшийся ночью из-под двери в спящем доме. Тело знает раньше рассудка. Тело кричит — беги, — когда рассудок ещё убеждает себя, что ему померещилось, что это соседи жгут листья, что всё в порядке, спи. Она столько лет слушала рассудок. Столько лет он убеждал её, что всё в порядке.

Отец пришёл не попрощаться.

Он попрощался с ней давно, тихо, как прощаются с теми, кто умирает в свой срок и в своём уме. Тогда были слёзы, и земля, и поминки, и долгое, тупое горе. Тогда — прощание.

А сейчас он пришёл за другим. Он пришёл — она поняла это с той ослепительной, не оставляющей щели ясностью, какая приходит раз в жизни, — он пришёл спасти её. Оттуда, где он теперь был, ему стало видно то, чего не видела она отсюда, из своей темноты, из своей привычки терпеть. Ему стало видно всё. И он не смог смотреть молча.

Встань и беги, дочка.

Она закрыла глаза. Сердце билось ровно.

И где-то очень глубоко, под самым сердцем, что-то, что она считала давно раздавленным насмерть, — шевельнулось. И осторожно, недоверчиво, впервые за долгие годы — вдохнуло.

Глава 2. Феникс перед зеркалом

Она собрала сумку сама. Аккуратно, без спешки, будто складывала не платья и купальник, а самоё себя — по частям, стараясь не растерять ни одной.

Он стоял в дверях палаты, когда она выписывалась, — заботливый, ровный, с той гладкой заботой, от которой у неё теперь по спине шёл холодок. Она научилась не показывать этого холодка. Научилась хорошо, за годы.

— Врачи советуют море, — сказала она, и голос вышел спокойный, почти домашний. — Хочу поехать с сыном. Ненадолго. Подышать.

Она смотрела ему в лицо и удивлялась, как ровно звучат её собственные слова — как чужие, отрепетированные, с тем правильным оттенком усталой женщины, которой просто нужен отдых. Внутри же стояла одна-единственная мысль, чистая и твёрдая, как камень на дне прозрачной воды.

Выбраться. Пока можно.

Он что-то ответил — она не запомнила что. Кивнула. Улыбнулась ровно настолько, чтобы не вызвать вопросов. И вышла из палаты своими ногами, на своих каблуках, держа сумку в руке, — и каждый шаг по больничному линолеуму, липкому от хлорки, отдавался в ней тихим, недоверчивым ликованием: иду. Сама. Вон.

Сын ждал внизу, у машины.

Дорога легла под колёса длинной серой лентой. Он сел за руль — молча, деловито, как взрослый, — и она поймала себя на том, что смотрит на его руки на баранке и не может насмотреться. Когда он успел стать таким? Когда её мальчик научился так уверенно вести, так спокойно молчать, так по-мужски оберегать её этим молчанием?

Она отвернулась к окну.

За стеклом бежали деревья — сначала городские, чахлые, потом всё гуще, всё зеленее, и наконец — леса, настоящие, тёмные, дышащие. Они мелькали, сливались в сплошную зелёную реку, и с каждым километром что-то в ней отпускало. Не боль. Боль она знала, боль была старой знакомой. Отпускало другое — оцепенение. То самое, в котором она жила так долго, что перестала его чувствовать, как перестаёшь чувствовать одежду на теле. Только теперь, когда оно стало сходить, слой за слоем, она поняла, каким оно было плотным. Как панцирь. Как саван.

Она опустила стекло. Ветер ворвался в салон — тёплый, пахнущий нагретой травой и бензином и дорогой — и растрепал ей волосы, и она не стала их поправлять. Пусть.

— Мам, дует, — сказал сын, но не потянулся закрыть окно. И она услышала в его голосе не упрёк — заботу. И оставила стекло опущенным. И он не сказал больше ни слова.

Они ехали.

Море открылось к вечеру — сразу, из-за поворота, огромное, тяжёлое, стального цвета в закатном свете. У неё перехватило горло, и солёный ветер, ворвавшийся в опущенное окно, показался ей вкусом свободы.

Они бросили вещи в номере, и она пошла к воде сразу, не переодеваясь, — так, в лёгком платье, — сбросила босоножки на песок, ещё хранивший дневное тепло, и ступила в прибой.

Волна ударила в щиколотки — холодная, живая, настойчивая. Отхлынула. Ударила снова. И снова. Соль щипала кожу, ветер бил в лицо, гнал брызги, и она стояла и смотрела в эту серую беспокойную даль — и вдруг заплакала.

Не поняла в первую секунду о чём. Слёзы шли сами, горячие на холодном ветру, катились и катились, и она не вытирала их. О потерянных годах? О тех, что просидела в панцире, считая это жизнью. Об отце — который там, за той чертой, увидел то, чего не увидела она отсюда, и не смог смотреть молча. О себе — о том, что едва не умерла и не поняла этого вовремя, что

лежала под белым больничным потолком и думала, что у неё слабое сердце, что это судьба, что так бывает.

А сердце было здоровое.

Она плакала, и волны били в ноги, и это было похоже на то, как отмывают рану — больно, солёно и очищающе. Она стояла долго. Пока не стемнело. Пока не продрогла. И только тогда почувствовала на плечах тяжесть чужой куртки и поняла, что рядом стоит сын — молча, чуть поодаль, — и что стоит он, наверное, уже давно.

Они пробыли у моря несколько дней.

Дни были простые и оттого — драгоценные. Они завтракали вместе на террасе, где ветер трепал скатерть и норовил унести салфетку. Ходили по кромке воды, собирали гладкие камушки без всякой цели. Он не давил на неё вопросами — не спрашивал ни про больницу, ни про то, что будет дальше. Просто был рядом. И это его присутствие, ровное и надёжное, было вернее любых слов.

Они молчали вместе. Ели вместе. Смотрели, как солнце тяжело садится в воду, окрашивая всё в медь и багрянец, — и молчали.

И где-то на второй, на третий день она заметила, что дышит.

По-настоящему. Полной грудью. Так, что воздух доходил до самого дна лёгких, до тех мест, куда он не заглядывал, кажется, годами. Она ловила себя на этом вдохе — глубоком, свободном, ничем не сжатом, пахнущем йодом и водорослями, — и удивлялась ему, как удивляются подарку.

Ночью она не могла спать. Лежала с открытым окном, и шум волн входил в комнату — ровный, вечный, безучастный ко всем человеческим бедам, и от этого — целительный. Она думала об отце. О трёх словах, что стояли в ней теперь неугасимо.

Встань и беги.

И в темноте, под этот бесконечный гул моря, ей вдруг открылось то, чего она не поняла сразу.

Не от него бежать. Не только от него.

К себе.

К той женщине, что была до всего этого — до брака, до страха, до белых больничных потолков и ледяного пота под грудиной. К той, что любила ветер в лицо и не боялась опустить стекло. Которая была где-то там, за годами оцепенения, — живая, ждущая, не убитая до конца.

Она лежала и слушала волны.

И то, что вдохнуло в ней впервые за долгие годы, — дышало теперь ровно, глубоко, не таясь.

* * *

В последнее утро она проснулась ещё до рассвета — сама, без будильника, будто изнутри её кто-то тронул за плечо. Комната была серой и стылой, простыня хранила тепло только там, где лежало тело. Она оделась в темноте, тихо, чтобы не разбудить сына за тонкой стеной, и вышла на берег одна.

Море было свинцовым. Волны шли ровно, без гнева, — накатывали и отступали, накатывали и отступали, и в этом мерном движении было что-то от дыхания огромного спящего существа. Небо у самой воды начинало розоветь: тонкая полоса, чуть теплее пепла, обещание, а не свет ещё. Она стояла на границе, где песок темнел от влаги, и холод поднимался от земли к ногам, забирался под подол платья.

И в этой тишине, где не было ни мужа, ни врачей, ни судов, ни телефонных звонков, она устроила себе суд. Но не над ним. Не над браком, который выел её изнутри, как ржавчина выедает металл. Над собой.

Над своим молчанием. Над всеми теми годами, когда она выбирала терпеть.

Она стояла и смотрела в серую воду и говорила себе правду — впервые без пощады, без той жалости, которой женщины умеют себя укрывать, как одеялом. Она любила не его. Она любила идею — семью, дом, вечернюю лампу, стол, за которым сидят вместе. Она любила эту идею так сильно, что перестала видеть человека, ради которого эту идею держала. Знаки были. Их было множество. Холод в его глазах, когда он думал, что она не смотрит. Странная забота — навязчивая, как забота тюремщика о том, чтобы узник дожил до срока. Таблетки, которые она глотала послушно, доверчиво, потому что он подавал их сам, с водой, с этой полуулыбкой. Она видела всё — и не позволяла себе видеть. Потому что увидеть — значило остаться одной. А остаться одной было страшнее, чем умереть.

И она почти умерла.

Розовая полоса на горизонте раздалась вширь, стала гуще, теплее. Первый настоящий луч лёг на воду длинной дрожащей дорожкой, и вода вспыхнула от края до края. Она не отвела глаз.

Сзади хрустнул песок. Она не обернулась — знала, что это сын. Он подошёл и сел рядом на плоский, ещё не прогретый камень, поднял воротник куртки. Они молчали. Долго. Так долго, что розовое успело перейти в золото, а золото — в чистый, промытый свет раннего утра. Чайка прошла низко над водой и села вдалеке, на мокром песке.

— Я не вернусь туда, — произнесла она наконец.

Тихо. Не как вопрос — ей нечего было спрашивать. Не как объявление — ей не перед кем было объявлять. Как факт. Как отмечают вслух, что рассвело или что похолодало.

Сын не ответил. Он взял её руку — большой ладонью, которая когда-то умещалась в её ладони целиком, а теперь укрыла её кисть, — и сжал. Крепко. Один раз. И не отпустил. Она смотрела на воду, и глаза её были сухими, и ей казалось, что она чувствует сквозь эту руку, как бьётся его сердце — ровно, живое, здоровое, унаследованное от неё, а не от того дома.

Так они и сидели, пока солнце не поднялось.

Дорогу домой она вела сама.

Она всегда любила это — руль под руками, ленту дороги, что разматывается навстречу, ощущение, что от неё зависит движение. В последние годы она почти не садилась за руль. Он не любил, когда она вела. Теперь стекло было опущено, ветер бил в лицо, трепал волосы, и она не поднимала его. Пусть.

Сын дремал на соседнем сиденье, откинув голову, приоткрыв губы, как в детстве. Она смотрела на дорогу впереди — на реальную, серую, в трещинах и заплатах, уходящую за поворот, и на ту, другую, что открывалась внутри неё. И где-то на середине пути, между двумя одинаковыми полями, между столбами и небом, она вдруг поняла, что страха больше нет.

Он ушёл. Тот вязкий, липкий страх, который жил в ней годами, который заставлял глотать таблетки и улыбаться за общим столом, — его просто не стало, как не бывает больше ноющей боли, когда вырвали зуб. Осталась усталость — глубокая, до костей. И под усталостью, на самом дне, — что-то твёрдое, спокойное и холодное. Как камень, обкатанный морем, что лежит там, куда не доходит ни один шторм. Решимость. Она попробовала это чувство на вкус, осторожно, и оно не дрогнуло.

К вечеру показался город.

Знакомая развязка, знакомый указатель, знакомый силуэт на фоне неба, который она знала наизусть. Она въезжала в свою жизнь — в дом, где прожила столько лет, где были её вещи, её книги, её фотографии. И не почувствовала облегчения возвращения. Не почувствовала того тепла, с каким усталый путник видит родные окна.

Она чувствовала себя человеком, который входит в горящий дом.

Спокойно, без паники — паника осталась в прошлом. Входит в последний раз. Затем, чтобы забрать самое важное — то немногое, что ещё можно спасти из огня, — и выйти. Навсегда. Не оглядываясь. Она знала уже, что переступит порог, где стены пропитаны прожитым,

где всё будет уговаривать её остаться, объяснять, дать ещё один шанс, — и что она пройдёт сквозь эти уговоры, как проходят сквозь дым, задержав дыхание.

Машина катилась по вечерним улицам, зажигались первые фонари, роняя на асфальт длинные оранжевые пятна. Сын проснулся, посмотрел на неё сбоку — и она почувствовала этот взгляд кожей, но не повернула головы. Она смотрела вперёд.

Дом приближался. Окна его были тёмными.

И она дышала — ровно, глубоко, до самого дна, — и въезжала в пламя, чтобы выйти из него живой.

* * *

Всё, что было потом, она запомнила отрывками, как запоминают долгую болезнь.

Море было в июле две тысячи двадцать второго. Она уехала туда с сыном и вернулась с готовым решением — как возвращаются с уже вынесенным приговором, который осталось только огласить. В сентябре она подала на развод. Суды тянулись два с половиной года — до января две тысячи двадцать пятого.

Стопка бумаг на краю стола росла сама собой, будто питалась ночами: исковые заявления, ходатайства, копии копий, скреплённые скрепками, которые ржавели от её пальцев. Слова, которые прежде она читала только в чужих делах, теперь были её словами. Раздел. Взыскание. Угроза причинения. Она научилась не вздрагивать при них.

Телефон звонил в три часа ночи, в четыре, в половине пятого. Она научилась не брать. Потом научилась блокировать — короткое движение большого пальца по экрану, и номер уходил в глухую темноту, за стену, откуда его уже не было слышно. Иногда он звонил с других номеров. Их она тоже блокировала, один за другим, методично, как выпалывают сорняки, зная, что весной они полезут снова, но полоть всё равно надо.

А потом были ключи.

Новые, ещё пахнущие металлом мастерской, на простом стальном кольце. Она стояла перед дверью на двадцать пятом этаже — своей дверью, чужого пока цвета, — и ключ не сразу вошёл в скважину, потому что рука дрожала. Не от страха. От чего-то другого, чему она ещё не знала имени. Замок щёлкнул сухо и чисто. Дверь открылась в пустоту, в запах свежей краски и нежилого простора, и она переступила порог — впервые в жизни в дом, где не было никого, кроме неё.

Она закрыла за собой дверь. Прислонилась к ней спиной. И долго стояла так, слушая тишину, в которой не было ни одного чужого шага, ни одного чужого дыхания.

Мебели ещё почти не было. В спальне — только большое зеркало, прислонённое к стене, ещё не повешенное, в раме, обмотанной пузырчатой плёнкой по углам. Она подошла к нему в сумерках, не зажигая света, и остановилась.

Из зеркала на неё смотрела женщина, которую она не сразу узнала.

Худее, чем помнила. Скулы проступили резче. У глаз — тонкие лучики, которых три года назад не было; она наклонилась ближе, тронула пальцем кожу у виска, и морщинки не разгладились. Три года. Она заплатила ими за то, чтобы стоять здесь. Дорого. И всё же дёшево.

Но было и другое — то, ради чего она и застыла.

Взгляд. В нём не было страха. Она смотрела и смотрела, ища привычную тень на дне зрачков, ту вечную готовность вздрогнуть, оправдаться, стать меньше, — и не находила. Женщина в зеркале смотрела прямо. Спокойно. Как смотрят те, кому больше нечего терять и потому нечего бояться.

«Я сгорела», — подумала она, и мысль эта пришла без горечи.

Она вспомнила, как в детстве, ещё там, в маленьком городке над рекой, отец жёг по осени сухую траву на огороде. Пламя шло низко, стелилось, чернило землю, и казалось — всё, конец, ничего живого не останется. А весной именно на том выжженном месте трава поднималась гуще и зеленее всего.

Огонь не всегда разрушает. Иногда он очищает. Выжигает старое, мёртвое, отравленное, чтобы освободить землю для нового.

Она стояла в пустой квартире, в новом воздухе, которого никто до неё здесь не дышал, и чувствовала это новое дыхание в лёгких — до самого дна, до последней клеточки. Она сгорела дотла. И вот стоит на пепелище. Только пепелище это оказалось не концом. Оно оказалось местом, откуда всё начинается.

Она отошла от зеркала. Открыла единственный привезённый чемодан, и замок его щёлкнул тем же чистым, освобождающим звуком, что и замок новой двери.

Красное платье лежало сверху — она сама положила его так, будто знала заранее, что оно понадобится первым. Струящаяся ткань цвета спелой вишни, тонкие бретели, длина до колена. Она не надевала его годами. Он не любил, когда она надевала красное, — говорил, вульгарно. Она сняла с себя всё серое, дорожное, усталое и надела платье через голову, чувствуя, как холодный шёлк скользит по коже, как обнимает талию, как оживает на теле.

Каблуки. Достала из коробки чёрные лодочки, застегнула ремешки на щиколотках. Выпрямилась.

И снова подошла к зеркалу.

Женщина в раме изменилась. Платье горело в сумерках тёмным огнём, каблуки подняли её, вытянули линию тела, и что-то в ней распрямилось — медленно, изнутри, как расправляется затёкшее крыло после долгого, слишком долгого сна. Она подняла подбородок. Провела рукой по волосам. И впервые за годы увидела в зеркале не жертву, не подсудимую, не тень при чужой воле.

Женщину.

Живую. Уставшую, с морщинками у глаз, с камнем на дне души — но живую и свою собственную, от макушки до кончиков каблуков.

— Здравствуй, — сказала она тихо своему отражению. И почти улыбнулась.

Она подошла к окну.

Москва лежала внизу вся в огнях — бесконечная, дышащая, живая. Реки фар текли по проспектам, вспыхивали и гасли окна в тысячах домов, и над всем этим стояло розовое от подсветки небо, в котором не было ни одной звезды и было столько жизни, что кружилась голова. Двадцать пятый этаж. Высоко. Так высоко, что казалось — ещё немного, и полетишь.

Она приложила ладонь к холодному стеклу. Огни города просвечивали сквозь пальцы, дробились в них, как в гранёном хрустале.

И прошептала — не то себе, не то отцу, который приходил к ней во сне и сказал встать и бежать, не то той девочке из городка над рекой, что когда-то, засыпая под шум тополей, мечтала о любви — настоящей, единственной, до последнего вздоха, — и в которую никто так и не поверил, кроме неё самой.

— Я буду жить, — сказала она. — Слышишь? Я буду жить.

Слова осели на стекле лёгким облачком пара и растаяли, оставив на холодной глади мутное пятнышко.

Впереди был новый год — её год, её жизнь, начатая с чистого, выжженного, готового к всходам листа. Февраль был совсем близко. Февраль две тысячи двадцать пятого.

Она стояла у окна, красная, живая, воскресшая, и смотрела в огни огромного города — и ещё не знала, совсем не знала, что там, в феврале, на вечере встречи выпускников, в маленьком зале провинциального городка, её будет ждать человек, один взгляд которого перевернёт всё.

Она просто дышала. Полной грудью. В первый раз.

Глава 3. Городок, которого нет на карте

Дорога уходила на юго-запад ровной серой лентой, и снег по обочинам лежал не белый, а какой-то седой, притрушенный сверху дорожной сажей. Февральское небо висело низко, без единого просвета, будто кто-то накрыл землю мокрым войлоком. М. вела ровно, руки лежали на руле легко, и она вдруг поймала себя на том, что не смотрит на навигатор. Он что-то тихо бубнил на приборной панели, но она давно уже свернула не туда, куда он вёл, — а туда, куда вело тело.

Оно помнило. Вот здесь дорога чуть подныривает под старый железнодорожный мост, и надо сбросить скорость, потому что за мостом всегда лужа, даже в мороз — незамерзающая, чёрная, живая. Вот здесь начинается длинный пологий подъём, и справа тянется поле, которое летом становилось золотым до рези в глазах, а сейчас лежало под снегом плоское и немое. Разум давно отвык от этих мест, вычеркнул их, как вычёркивают из записной книжки телефоны умерших. А руки помнили. Стопа сама знала, когда отпустить газ.

Огни придорожных деревень всплывали из сумерек редко и тускло — жёлтые окна, синеватый мертвенный свет фонаря над остановкой, гирлянда, кем-то забытая на веранде с Нового года. Между деревнями лежала темнота, густая, деревенская, ничем не разбавленная. Москва осталась позади, вся в своём розовом от подсветки зареве, а здесь небо было настоящее — чёрное, тяжёлое, с редкими звёздами в разрывах туч.

Зачем она согласилась, спрашивала она себя. Перебирала доводы, как чётки. Одноклассницы позвонили — сначала одна, потом вторая, потом в общий чат посыпались сердечки и восклицательные знаки. «Тридцать лет! Тридцать лет выпуску, ты представляешь? Как можно не приехать?» Она отвечала уклончиво, откладывала, ссылалась на работу. А потом поняла, что причины отказать у неё нет.

В том-то и дело. Раньше причина была всегда — он не любил, когда она уезжала одна; он всегда находил повод, тонкий, почти заботливый, оплетавший, как паутина. А теперь никого не было. Новая жизнь ещё стояла голая, как эта квартира на двадцать пятом этаже, где мебели было меньше, чем воздуха. Ещё не обросла привычками, за которые можно спрятаться. И потому, когда позвали, она не нашла в себе ни одной стены, за которой можно было бы отсидеться.

— Поеду, — сказала она тогда вслух. И сама удивилась, как легко это прозвучало.

Городок начался незаметно. Сначала промзона, тёмные корпуса, потом первые пятиэтажки, потом — улицы. Она узнавала их и не узнавала. Вот аптека, только вывеска новая, зелёный крест мигает. Вот угол, где был газетный киоск, — киоска нет, стоит пустая будка. Улицы стали меньше. Или это она стала больше — не ростом, а всем тем, что случилось с ней за эти годы и не помещалось теперь в тесноту провинциальных переулков.

Она приоткрыла окно на секунду — и запах вошёл в машину сразу, весь, целиком. Снег, чистый морозный снег. Угольный дым из печей — здесь ещё топили углём, на окраинах, и этот сладковато-горький дух стлался над крышами. Чужие тёплые окна. Она ехала медленно вдоль улицы и видела, как за занавесками горит домашний жёлтый свет, кто-то ужинает, кто-то смотрит телевизор, живёт свою тихую немудрёную жизнь, — и эта чужая жизнь вдруг обняла её такой неожиданной, беспричинной нежностью, что защипало в горле.

Здесь прошло детство. Здесь она была другой — до всего. До брака, до белых роз, которые он приносил ей охапками, до чая, от которого сжималось сердце, до звонков в три часа ночи, до госпитализаций, до сна, в котором отец сказал ей встать и бежать. Здесь она была девочкой, засыпавшей под шум тополей, и верила, что где-то есть любовь — единственная, до последнего вздоха. Феникс, подумала она и почти усмехнулась. Феникс, который приехал посмотреть, каким был пепел, прежде чем сгорел.

Она свернула на площадь. Двухэтажное здание с колоннами при входе, гирлянда лампочек над крыльцом, у входа толпились люди в пальто, курили, смеялись, обнимались. Она нашла место чуть в стороне, у бордюра, заглушила мотор.

И осталась сидеть в тишине.

Двигатель тихонько потрескивал, остывая. За стеклом падал редкий сухой снег. Она подняла глаза к зеркалу заднего вида и увидела там свои глаза — и красную, слишком, может быть, красную помаду, и прямую спину. Смотрела на себя, как смотрят на незнакомку, которой доверяют не до конца.

— Просто вечер, — произнесла она тихо, для себя одной. — Просто старые знакомые.

Слова легли в тишину машины и растаяли, как то давнее облачко пара на московском стекле. Она выключила фары. За колоннами горел свет, играла приглушённая музыка, и снег всё падал, падал на площадь городка, которого не было ни на одной карте её новой жизни.

Она взялась за ручку двери.

* * *

В зале пахло, как пахнет только в старых домах культуры, — мастикой для паркета, чуть остывшим чаем, гвоздиками и той особой пылью, что оседает на бархатных шторах за долгие годы. Гирлянды из разноцветных лампочек висели по стенам чуть криво, оттого ещё живее, ещё сердечнее. Вдоль стены тянулась выставка: старые чёрно-белые снимки, приколотые к листам ватмана, — линейка на первое сентября, поход к реке, кто-то в пионерском галстуке щурится на солнце. А из колонок, потрескивая на верхних нотах, лилась песня — та самая, «Городок», про палисадник, про мамино окно. М. узнала её с первых тактов, и что-то сжалось в груди — не больно, а странно, как трогаешь пальцем давно заживший шрам и вдруг вспоминаешь, откуда он.

— Она! Приехала! — раздалось от стола у окна, и к ней уже шли, раскрыв руки, три женщины сразу, обнимали, отстраняли, чтобы рассмотреть, снова обнимали.

— Ты совсем не изменилась! — выдохнула одна, держа её за плечи. — Ни капли! Как будто вчера у доски стояла!

М. засмеялась, приняла поцелуй в щёку, ответила тем, что говорят в таких случаях: и ты, и вы все. Улыбалась искренне, и всё же внутри тихо усмехнулась. Не изменилась. Если бы они знали. Она изменилась до самого дна, до последней жилки, — просто это не то, что видно снаружи. Снаружи всё в порядке: платье, спина, помада. А там, под платьем, — другая женщина, вставшая из пепла и не до конца ещё уверенная, что твёрдо стоит на ногах.

Её усадили в середину, между Танечкой и Лидой, налили чаю, придвинули тарелку с бутербродами, будто она всё ещё та девочка, которую надо накормить. Разговор потёк — привычный, тёплый, ни к чему не обязывающий. О детях: у Танечки старший женился, у Лиды дочка в Калуге, ждут второго. О дачах: рассада, теплица, кто-то жаловался на кротов. Кто-то — тихо, между делом — на мужа: пьёт, лежит, телевизор. Кто-то доставал телефон, показывал внука, и все ахали, передавая экран из рук в руки.

М. слушала, кивала, смеялась там, где надо смеяться. И вдруг поймала себя на том, что ей по-настоящему хорошо. Легко. Здесь, в этом зале, никто не спрашивал, как она живёт теперь, почему одна, что случилось. Её прошлое не требовало объяснений — оно просто было, растворённое в этих лицах, в этой песне, в запахе мастики. Здесь она была не HR-директором, не разведённой, не той, кого возили в больницу с сиреной. Здесь она была просто одна из них — девочка из этого городка, которого нет на карте её новой жизни.

Лида поднялась, звякнула ложечкой о бокал.

— Так, девочки, хватит чаи гонять. — Она разлила по бокалам шампанское, пена зашипела и осела. — Давайте. За нас. За тех, кто выжил и не сдался.

Кто-то засмеялся, кто-то ойкнул, что рано ещё, официальную часть не объявили. Но бокалы уже потянулись друг к другу. М. подняла свой — и слова эти, брошенные без задней мысли, между кротами и внуками, попали точно в центр. В самое.

За тех, кто выжил.

Она выжила. Не в переносном смысле, не «пережила развод», как переживают все. Буквально. Встала и побежала, как сказал ей отец во сне. И вот сидит здесь, в тёплом зале, среди живых голосов, держит бокал холодного шампанского, и в бокале дрожат отражения гирлянд. Горло сжало. Пригубила, чтобы никто не заметил, и стекло приятно холодило губы.

— Ты чего? — тихо толкнула её локтем Танечка. — Расчувствовалась?

— От песни, — сказала М. и кивнула на колонки. — Дурацкая песня. Пробирает.

Разговор тем временем свернул на тех, кого не было. Кто уехал совсем, кто в Германии, кто, царствие небесное, уже ушёл — и все на секунду примолкли, помянули. Кто изменился так, что не узнать. Кто раздобрел, кто облысел, кто, наоборот, помолодел, поди пойми на какие деньги.

— А из параллельного, слыхали, тоже кто-то обещался быть, — произнесла Лида, разглаживая скатерть. — Тот, который теперь в Москве осел. В строительстве, говорят, большой человек.

— Да ну, — отмахнулась Танечка. — Эти-то к нам? У них своя жизнь.

М. отпила ещё глоток. Имени не назвали. Параллельный класс — те, кого она и в школе-то толком не знала, чужие коридоры, чужие лица за тонкой стенкой. Не спросила кто. Не оглянулась на дверь. Взяла с тарелки бутерброд, повернулась к Танечке, засмеялась над её историей про свекровь.

За окном падал снег. Играла музыка. И всё было хорошо.

* * *

Вечер набирал ход, как всё, что набирает ход незаметно, — сначала прибавили музыку, потом смех стал свободнее, потом кто-то в дальнем углу зала, у окна, где стояла разлапистая ёлка ещё с Нового года, начал танцевать. М. смотрела туда с лёгкой улыбкой. Танцевали неуклюже, счастливо, не стесняясь животов и седины, — так, как танцуют люди, которым уже нечего доказывать. Женщина в кофте с люрексом кружилась, запрокинув голову, и муж — а может, и не муж — держал её за талию бережно, как держат то, что боятся расплескать.

Она не танцевала давно. Очень давно. Так давно, что уже и не помнила, каково это — когда тело перестаёт быть просто способом добраться из точки в точку, из зала суда в машину, из машины в квартиру, и вдруг становится чем-то лёгким, поющим. Тело у неё в последние годы было врагом: то падало в больницу, то дрожало от ночного звонка, то немело от страха. Она отучилась ему доверять. А оно, оказывается, всё это время помнило, как танцевать. Просто ждало.

Странная это вещь — новая жизнь, думала М., катая по языку остывший вкус шампанского. Выходишь из пепла — и не знаешь, что делать с крыльями. Они у тебя есть, чувствуешь их за спиной, эту непривычную тяжесть, эту готовность, — но ты ещё не умеешь ими пользоваться. Разучилась. А может, и не умела никогда, всю жизнь ходила пешком. И вот сидишь на краю, смотришь вниз, и внутри всё замирает: то ли прыгнуть, то ли ещё подождать.

Сегодня она впервые за долгое, долгое время не думала о судах. Не прокручивала в голове его слова, не проверяла, заперта ли дверь, не ждала, что телефон вздрогнет в три ночи. Сегодня она просто сидела. Просто дышала. Полной грудью, до самого дна, — и воздух пах мастикой, духами, оливье и чем-то ещё, детским, забытым, из тех коридоров, где мел скрипел по доске. Хорошо. Ей было по-настоящему хорошо, и она держала это «хорошо» в ладонях осторожно, как воду, боясь пролить.

— …а я ей говорю: мам, ну какие внуки, дай хоть дочь замуж выдать, — досказывала Танечка, и все за столом смеялись, и М. смеялась вместе с ними, откинувшись на спинку стула.

— Ты вот, — Танечка вдруг повернулась к ней, — ты-то как? Всё в своей Москве? Не скучно там одной, среди этих небоскрёбов?

— Скучно бывает, — сказала М. и улыбнулась. — Зато вид с двадцать пятого этажа. Проснёшься — а под тобой полгорода в тумане. Как будто над облаками живёшь.

— Ой, я бы там с ума сошла, — ойкнула Лида. — Высоты боюсь.

— А я, наоборот, только там дышу, — начала было М. и осеклась.

Потому что в этот момент что-то изменилось.

Не звук — музыка играла ровно, тот же перебор, тот же нехитрый ритм. Не свет — гирлянды всё так же мигали, и лампы под потолком горели жёлто и тепло. Изменилось что-то другое, то, чему нет названия, чего не увидишь и не услышишь, — так меняется воздух перед грозой, когда небо ещё синее, а внутри у тебя уже что-то натянулось струной и ждёт. Перемена давления. Едва уловимый сдвиг, от которого закладывает уши.

М. не повернула головы. Сидела прямо, лицом к Танечке, к Лиде, к остывшему чаю и осевшему шампанскому. Но кожа на затылке вдруг сделалась чуткой, живой, будто там, под волосами, кто-то провёл пальцем, не касаясь. Как антенна, поймавшая далёкий сигнал. Как будто в тёплом заполненном зале появилось нечто, чего минуту назад не было, — и весь воздух теперь тёк к этому «нечто», и она, сама того не желая, начала течь тоже.

Взяла бокал. Рука была спокойна — абсолютно, до странности спокойна, ни капли не дрогнуло тонкое стекло. Поднесла его к губам, сделала глоток, ощутила, как теплота растекается по нёбу. Снаружи — ничего. Женщина за столом, приличная женщина сорока семи лет, в красном платье, пьёт шампанское и слушает подругу. А внутри что-то беззвучно сместилось. Как будто в тёмной комнате, где она знала на ощупь каждый угол, кто-то тихо, пока она спала, переставил всю мебель. И теперь, идя в темноте, она вот-вот наткнётся на что-то, чего здесь быть не должно.

«Что это со мной», — мысль вышла почти сердитой. Выпила лишнего. Расчувствовалась от песни. Ностальгия, снег за окном, всё это подкожное, детское.

Танечка что-то отвечала, но М. уже не слышала слов. Смотрела на Лиду напротив — и вдруг Лида замолчала. На полуслове, оборвав фразу, — подняла глаза куда-то поверх плеча М., туда, к двери, откуда тянуло холодом и запахом улицы. Во взгляде её мелькнуло любопытство, лёгкое, женское, оценивающее: кто пришёл.

М. не обернулась. Очень медленно, очень бережно поставила бокал на стол.

* * *

Бокал стоял на столе, а рука всё ещё лежала рядом с ним, будто М. забыла её там. Она смотрела на скатерть, на тонкий узор, вытканный по краю, на крошки от торта, на розовое пятнышко от помады Танечки на её чашке — смотрела на всё это неотрывно, как будто в этих мелочах было спасение, как будто, если удержать взгляд здесь, на знакомом, безопасном, то ничего и не случится.

Но случалось.

Кто-то смотрел на неё. Не так, как смотрят из любопытства на женщину в красном, что приехала из Москвы, — тем скользящим, оценивающим взглядом, который она умела отражать одним поворотом плеча. Нет. Этот взгляд был иным — тяжёлый, тёплый, обволакивающий, как если бы кто-то положил ей на спину раскрытую ладонь и держал, не касаясь. От него хотелось выпрямить спину, расправить плечи, стать выше, красивее, лучше — и в ту же секунду хотелось сжаться, забиться в угол, исчезнуть, чтобы её не видели такой открытой, беззащитной, застигнутой врасплох. Она не понимала, откуда это. Зал был большой, гудел десятками голосов, звенел вилками, смеялся, дышал — а она чувствовала одну-единственную точку, откуда струился этот взгляд, и точка та была где-то за её спиной, ближе к дверям.

«Что это со мной», — и мысль вышла раздражённой, почти злой, как одёргивают ребёнка. Я устала. Я четыре часа за рулём. Шампанское на голодный желудок, а до того полбокала за

встречу и ещё глоток за Валерку, которого нет. Просто шампанское. Просто старые песни — вон, опять этот перебор, эта тягучая, сладкая, до слёз знакомая мелодия, под которую в девяносто пятом они танцевали в этом самом зале, только тогда он был спортивным, с матами и канатом под потолком. Ностальгия. Снег за окном. Всё это подкожное, детское, глупое. Сейчас пройдёт.

Она сама себе не поверила. Ни единому слову. Внутри всё было натянуто и звенело.

Танечка о чём-то говорила — про внуков, кажется, про то, что старший уже в третьем классе, — а Лида напротив вдруг перестала слушать. Глядела мимо М., поверх её плеча, и в лице её проступило то самое женское, живое, любопытное. Уголки губ дрогнули в улыбке — не М. предназначенной, а кому-то там, у дверей. Лида наклонилась чуть вбок, к соседке справа, к рыжей Ольге, и сказала вполголоса, но М. услышала — услышала каждое слово так отчётливо, будто их произнесли ей на самое ухо:

— Вот это да. Из параллельного, кажется. Батюшки, и не узнать.

И что-то внутри М. замерло.

Совершенно отчётливо. Без суеты, без дрожи — наоборот, вдруг наступила странная, глубокая тишина, как будто в ней самой выключили весь шум, все голоса, всю музыку, и осталось только это ровное, спокойное, ужасающее замирание. Как стрелка компаса, что долго дрожала, металась, искала — и вот наконец нашла север и застыла, указывая туда, куда указывать нельзя. Из параллельного. Она даже не подумала — кто. Не перебрала лиц, не стала вспоминать фамилии. Просто внутри неё что-то повернулось всем телом в ту сторону, к дверям, откуда тянуло холодом улицы и запахом чужого зимнего воздуха, — повернулось и сказало без слов: вот. Здесь. Он.

М. очень медленно подняла глаза от бокала.

Не обернулась. Смотрела прямо перед собой — на противоположную стену, где во всю длину тянулась зеркальная панель, оставшаяся, должно быть, ещё от прежней жизни этого зала, мутная, в разводах, наклеенная встык из нескольких кусков. В ней плавал весь зал наоборот: перевёрнутые столы, размытые фигуры, тёплые пятна света. Гирлянда мигала и в стекле, и в отражении — и там, в глубине этого тусклого зазеркалья, среди силуэтов и огней, у самого края, где обрывалось стекло, темнело что-то, чего минуту назад там не было. Тень, силуэт, размытое пятно на фоне светлой двери. Она напрягла зрение, впилась взглядом в отражение, пытаясь разглядеть — но стекло было старое, слепое, оно отдавало только огни и колеблющиеся контуры, ничего больше. Ни лица. Ни черт. Только присутствие.

«Не оборачивайся, — сказала она себе, и голос этот внутри был тихий и почти испуганный, детский. — Не надо. Не смотри. Досиди так. Допей чай. Поговори с Танечкой про внуков. Через час сядешь в машину, включишь печку, и всё это останется здесь, в этом городке, которого и на карте-то толком нет. Не оборачивайся».

Но кожа на затылке уже горела. Но рука уже сама поднялась и поправила у виска прядь — тот самый жест, которым женщина готовится быть увиденной. Но спина уже выпрямилась. Тело знало. Тело всё знало заранее, раньше неё, раньше разума, — знало то, что она ещё пыталась не признавать, отталкивала обеими руками, зажмуривалась.

И это было страшнее всего.

* * *

— Ты в порядке? Ты вся белая стала, — Танечка справа накрыла её руку своей, тёплой, чуть влажной от бокала. Пальцы у неё были мягкие, домашние, с обручальным кольцом, вросшим в кожу за тридцать лет. — Свет очей, да на тебе лица нет.

М. повернула к ней голову и улыбнулась. Улыбка получилась ровная, спокойная, ничего ей не стоившая, — она умела теперь так улыбаться, научилась за эти годы, когда каждое утро вставала перед зеркалом и складывала лицо, как складывают простыню: аккуратно, по линиям.

— Всё хорошо. Задумалась просто. Столько лет — а будто вчера сидели тут за партами.

— Вот-вот, — обрадовалась Танечка и отпустила её руку, потянулась к салату. — Я то же самое говорю. Помнишь, у нас окна на пустырь выходили…

М. кивала, но уже не слышала. Внутри стояла тишина. Не пустота — а именно тишина, глубокая, гулкая, какая бывает перед тем, как что-то обвалится: снег с крыши, стекло, жизнь. Тишина перед звуком.

И она обернулась.

Медленно, будто через воду, будто кто-то держал её за плечи и она пересиливала эти руки. Она и не хотела оборачиваться — тело обернулось само, повело её за собой, как ведут ребёнка, взяв за запястье. Взгляд скользнул по столам, по гирлянде, по мутному зеркалу — и остановился там, у дальнего края зала, где кончался свет и начиналась тень возле двери.

Он стоял к ней спиной.

Высокий. Плечи широкие, спокойные — не напряжённые, а именно спокойные, как у человека, которому никогда не приходило в голову, что мир может его не принять. Голова посажена уверенно, чуть откинута, и в самой линии этих плеч, в том, как он стоял, слегка расставив ноги, засунув одну руку в карман, было что-то такое, отчего весь зал вокруг него будто сделался меньше. Тише. Как будто он был точкой, в которую всё это помещение незаметно кренилось.

Он разговаривал с кем-то — она видела, как двигалась его голова, как он наклонился, слушая, и коротко, беззвучно засмеялся. От этого смеха у неё под рёбрами что-то повело — слабо, как тянет парус на перемене ветра.

«Я не знаю этого человека, — отчётливо, трезво, как говорят в опасности, сказала она себе. — Я его никогда не видела. Из параллельного — значит, тридцать лет он был где-то рядом, и я ни разу его не заметила, ни разу, ни лица, ни имени, ничего. Откуда же тогда это? Откуда это чувство, что я знаю его всю жизнь? Что я знала его ещё до того, как родилась?»

Мысль была нелепая. Она это понимала — понимала своим ясным, деловым умом, тем самым, который вёл переговоры, разводил людей по кабинетам, читал за минуту, кто чего стоит. Абсурд. Так не бывает. И всё же ум молчал, стоял в стороне и не мешал — как будто и он тоже узнавал.

Он ещё не повернулся. Она смотрела ему в затылок — в тёмные, коротко стриженные волосы, чуть тронутые сединой у виска, в линию шеи, в разворот плеч — и вдруг почувствовала, как внутри поднимается страх. Горячий, медленный, поднимающийся снизу, из самого живота, как поднимается тесто — неостановимо, молча.

Не тот страх, что она знала. Не страх темноты в коридоре, не страх ночного звонка, не тот животный ужас, что жил в ней три года и от которого она сбежала на море. Другой. Тише и глубже. Страх узнавания. Как будто она уже видела этот силуэт — где-то, когда-то, во сне, в другой жизни, на пожелтевшей странице книги, которую читала девочкой и забыла, а вот теперь книгу раскрыли снова на той самой странице, и оттуда смотрел он.

«Вот, — сказало в ней то тихое, что молчало весь вечер и молчало, кажется, годы. — Вот он. Здесь».

И это было непоправимо. Она чувствовала это всем телом — что что-то уже началось, уже сдвинулось, беззвучно, без её позволения, как сдвигается земля, и назад дороги нет, и она стоит на самом краю чего-то огромного и тёмного, куда сейчас упадёт.

Музыка в зале дрогнула, оборвалась, и заиграло что-то медленное — старое, тягучее, из их юности. Кто-то ахнул, кто-то засмеялся, две-три пары потянулись на середину, неловко, по-стариковски обнимая друг друга, покачиваясь под свет мигающей гирлянды.

М. отвернулась.

Резко, почти виновато — как отдёргивают руку от огня. Взяла бокал, поднесла к губам, но не отпила — просто держала, смотрела в тёмное вино, в котором мигала, дробясь, гирлянда, где-то там, на самом дне, крохотная, дрожащая.

И знала.

Знала так же спокойно и страшно, как знают, что сейчас пойдёт снег, — что через мгновение он повернётся. Обернётся к залу, к столам, к ней. Она не знала, откуда это знает. Она вообще ничего сейчас не знала — ни зачем приехала, ни как её зовут, ни как дышать. Знала только это одно.

Он сейчас повернётся.

И она сидела над бокалом, не поднимая глаз, чувствуя горящий затылок, чувствуя, как за спиной, в дальнем углу зала, что-то начинает медленно, неотвратимо поворачиваться к ней лицом.

* * *

Пузырьки поднимались со дна бокала — один за другим, тонкой цепочкой, откуда-то из невидимой глубины, где их не должно было быть, и всё-таки они были и всё-таки шли. М. смотрела на них не отрываясь. Крохотные, дрожащие, они срывались с самого дна и плыли вверх, к свету, к поверхности, и там исчезали беззвучно, а на их место уже поднимались новые.

«Вот так и бывает, — подумала она. — Вот так это и происходит. Ты сидишь, дышишь, держишь в руке холодное стекло, думаешь, что это просто вечер, просто зал, просто гирлянда мигает, — а на дне уже что-то началось, и оно поднимается, и его не остановить, потому что ты даже не смотрела туда, где оно началось».

Она не отпила. Просто держала бокал у губ, чувствуя ножку в пальцах, холодную и тонкую.

— …а помнишь, как Верка нам физичку разыграла? — Одноклассница справа тронула её за локоть, смеясь тем молодым, вернувшимся смехом, каким смеются, когда на минуту снова становится восемнадцать. — Мел натёрла, а она потом весь урок в ладонь дула, думала, простудилась!

— Помню, — сказала М. и засмеялась — и смех вышел настоящий, живой, потому что она правда помнила, и на секунду всё стало простым: стол, лица, гирлянда, тридцать лет как один вздох. — Она ещё нас всех подозревала, кроме Верки. Верка сидела с таким лицом…

— С таким святым лицом!

И в этот самый миг — на смехе, на выдохе, на слове «святым» — краем зрения, там, у дальней стены, что-то сдвинулось. Медленно. Силуэт, который весь вечер стоял к ней спиной, к которому она не смела повернуться, начал разворачиваться. Она не видела его прямо — только почувствовала это боковым зрением, тем древним чутьём, каким чувствуют движение в темноте, — и смех застыл у неё на губах, ещё живой, ещё тёплый, но уже пустой.

«Я выжила, — произнесла она себе, быстро, почти беззвучно, губами, которые ещё улыбались. — Я выжила. Я вышла из пепла — из больничных палат, из ночных звонков, из белых роз, что он присылал мне, когда травил. Я всё это прошла. Я приехала сюда просто так. Просто потому что тридцать лет — это тридцать лет, и раз в жизни можно приехать, посмотреть на лица, вспомнить мел на ладонях. Я ни на что не рассчитываю. Мне ничего не нужно. Я свободна. Я в полном порядке».

Она повторяла это, как повторяют молитву на непонятном языке — не понимая слов, но зная, что слова должны защитить. Я свободна. Я в порядке. Свет очей моих — нет, этого она ещё не знала, ещё не было этих слов, ещё не было того, к кому их скажут; было только пустое место, куда они когда-нибудь придут, и это пустое место уже болело.

Я в порядке. Я в порядке.

И вдруг всё стихло.

Не в зале — в зале играла та же тягучая музыка, звенели вилки, кто-то смеялся, кто-то звал официанта. Стихло в ней. Внутри наступила такая тишина, какая бывает только раз или два за целую жизнь — так тихо, как перед первым словом молитвы, когда губы уже разомкнулись, а звук ещё не родился. Ни страха. Ни мысли. Ни имени. Только эта белая, звенящая,

полная тишина, в которой она сидела над бокалом с поднимающимися пузырьками и ждала — сама не зная чего.

Он повернулся.

Она не видела лица. Только направление — только то, что теперь весь этот силуэт, вся эта тёмная фигура у дальней стены обращена сюда, к столам, к этому столу, к ней. Глаз она не подняла. Смотрела в вино, где дробилась гирлянда, где всё ещё поднимались, один за другим, неостановимо, крохотные пузырьки со дна. Но знала — знала всем позвоночником, всей кожей, горящим затылком, — что он смотрит в её сторону.

И в этот момент земля под ногами стала другой.

Не ушла. Не качнулась. Она не упала — сидела всё так же прямо, в красном платье, с бокалом у губ, тридцать лет спустя, в зале, где пахло прошлым и духами и топлёным сыром. Пол был на месте. Но он стал другим — как будто кто-то, пока она смеялась про Верку и мел, пока говорила себе «я в порядке», незаметно вынул прежнюю землю и подставил новую, чужую, ещё тёплую, ещё живую, дышащую под каблуками.

Ту, на которой она уже стояла не одна.

— М.? — окликнула одноклассница. — Ты чего замолчала?

Она хотела ответить. Открыла рот. Но слов не было — были только пузырьки, поднимающиеся со дна, и тишина, и чужая земля под ногами, и его взгляд, лёгший на неё, как ложится первый снег на непокрытую голову — беззвучно, неизбежно, навсегда.

— Ничего, — сказала она наконец, очень тихо, и поставила бокал на стол. — Ничего. Просто… кажется, я его знаю.

Глава 4. Опасность с той стороны зала

Он повернулся.

Не резко — так не поворачиваются люди, привыкшие к тому, что пространство подстраивается под них само. Медленно, с той особой неторопливостью, в которой нет ни тени неуверенности, — движение человека, заранее знающего, что увидит, и не спешащего с этим знанием. Плечи развернулись первыми, потом голова — и вот уже весь зал оказался перед ним как на ладони, как карта местности, которую незачем изучать, потому что она и без того понятна.

М. увидела его лицо.

Позже — много позже, в ту безмолвную часть ночи, когда спать ещё нельзя, а думать уже невозможно — она пыталась бы описать себе этот момент. Пыталась бы найти слова. Про скулы, про линию лба, про что угодно конкретное, за что можно уцепиться и объяснить себе, что произошло.

Не смогла бы.

Потому что дело было не в чертах. Не в том, что красив — хотя был, да, и этого не отнять. Дело было в чём-то другом, в чём-то, что не называется лицом и не описывается внешностью. В том, как смотрит. В том, как стоит. В том, что от него исходило — тихо, мощно, без усилий — как исходит тепло от камина, который давно горит и никуда не торопится.

Она это почувствовала прежде, чем увидела.

И это было странно. И это было точно.

Это он.

Без имени. Без логики. Просто знание — готовое, целое, как будто она носила его в себе всё это время и сейчас только опознала. Как узнаёшь мелодию с первых двух нот, хотя и не помнишь, где слышал. Как узнаёшь запах дома, в котором не был тридцать лет.

Это он.

Тепло поднялось от солнечного сплетения вверх — медленной волной, неостановимой, — прошло через грудь, через горло, добралось до кончиков пальцев, и она обнаружила, что сжимает ножку бокала. Крепко. Так, что побелели костяшки. Она не помнила, когда успела взять его снова.

Не дышала.

Секунду. Две. Может, больше — время в эту минуту вело себя странно, как будто у него тоже перехватило дыхание.

За столом говорили. Смеялись. Звенело что-то — ложечка о стекло, или браслет о край тарелки. Всё это было очень далеко. Всё это происходило в другом месте, где живут нормальные люди, которые пришли на встречу выпускников и просто вспоминают школу.

А здесь, в том маленьком и очень тихом пространстве, которое она вдруг обнаружила вокруг себя, — здесь был только он.

Он обводил зал взглядом.

Неторопливо. По-хозяйски — именно это слово, и никакое другое, потому что в этом взгляде не было ни бесцеремонности, ни высокомерия, было другое: спокойная уверенность существа, которое знает, что ему принадлежит право смотреть. Лев, подумала она — и сразу ощутила, как нелепо это звучит внутри головы, на встрече выпускников провинциальной школы, среди салатов и гирлянд. Лев. Но другого слова не нашлось, потому что другого не было.

Взгляд двигался. Медленно, методично, без суеты — стол за столом, лицо за лицом. Он ещё не добрался до её угла. Ещё несколько секунд, может, полминуты — и этот взгляд пройдёт дальше, и ничего не случится, и она выдохнет, и снова возьмёт бокал, и засмеётся чему-нибудь, что скажет Танечка, и весь этот вечер будет именно тем, чем должен был быть.

Она знала, что этого не произойдёт.

Опасность, — сказало что-то внутри — не страх, нет, страх это что-то другое, что-то мелкое и суетливое, а это было иным — предупреждение из той части существа, которая старше слов и старше разума, та самая часть, что поднимает волоски на коже за секунду до грозы. *Уйди. Отвернись. Не жди, пока он посмотрит.*

И сразу следом — тихо, неотвратимо, с той же абсолютной уверенностью, с какой пришло первое знание:

Я пропала.

Не «кажется». Не «боюсь». Просто — пропала. Как будто это уже случилось, как будто решение было принято где-то в другом месте, в другое время, без её участия, и ей осталось только признать очевидное.

Она не отвернулась.

— Подруга, — позвала Лида — вполголоса, с той интонацией, которая бывает у человека, заметившего что-то, о чём вслух лучше не говорить. — ты в порядке?

Она не ответила. Не потому что не слышала — слышала, просто слова снова оказались не там.

Ольга что-то сделала — движение боковым зрением, скорее всего, голову чуть повернула туда, куда смотрела М. Или не повернула. Это уже было неважно.

Взгляд из-под края зала двигался. Приближался. Ещё немного — и он дойдёт до крайнего стола у окна, и М. будет сидеть прямо, в красном платье, с пустой рукой, лежащей на белой скатерти, и смотреть на него в ответ, потому что ничего другого она уже не умела.

Тепло в груди не уходило. Оно стало тише, глубже — как уходит под кожу что-то, что решило остаться.

Бокал она так и не подняла.

* * *

Взгляд дошёл до её стола.

Она это почувствовала раньше, чем осознала — не умом, не зрением, а чем-то, что располагается ниже ума и глубже зрения. Что-то сжалось в солнечном сплетении — не больно, нет, скорее как сжимается воздух перед грозой, когда он ещё тёплый, но уже заряженный. Она уже смотрела на него. Смотрела до того, как позволила себе это.

Его взгляд — спокойный, неторопливый — нашёл её и остановился.

Внутри что-то сказало: *отвернись*.

Она не отвернулась.

Это был не вызов и не бравада. Просто — не смогла. Как не смогла бы отвернуться от огня, если стоишь близко и уже чувствуешь, как тепло переходит в жжение — в ту секунду, когда ещё не обжигает, но уже ясно, что обожжёт. В эту секунду не отходят. Стоят.

Он смотрел на неё так, будто уже знал. Не как смотрят на незнакомого человека через зал — с интересом, с вопросом, с той лёгкой рассеянностью, которая присуща взгляду, ищущему что-то неопределённое. Нет. Он смотрел с лёгким прищуром, почти незаметным, и в этом прищуре была не оценка, а что-то другое — утверждение. Как будто он не спрашивал: *кто ты?* Как будто просто говорил: *а, вот ты*.

Это было невозможно. Они никогда не говорили. Тридцать лет они существовали в одном городе, в одной школе, в параллельных вселенных, которые не пересекались ни разу, — и тем не менее его взгляд нёс в себе что-то похожее на узнавание. Или ей казалось. Или не казалось, и именно это было по-настоящему страшно.

Она заставила себя смотреть спокойно. Просто сидеть, просто смотреть — как смотрит женщина, которая умеет держать себя в руках, которая пережила суды и угрозы и не сломалась, которая четыре часа вела машину в зимней темноте из Москвы и не думала разворачиваться. Вот такая женщина, в красном платье, с прямой спиной, с пустой рукой на белой скатерти.

Внутри шёл тихий, беззвучный обвал.

Она видела его — и это было похоже на инвентаризацию, только инвентаризацию потери: вот плечи, широкие, с тем особым спокойствием хорошо пригнанного пиджака, которое бывает только у людей, не думающих о том, как они выглядят. Вот посадка головы — прямая, без усилия, без демонстративности, просто так держат голову те, кто давно перестал сомневаться в том, что им принадлежит место, где они стоят. Вот руки, которые она не разглядела — слишком далеко, — но уже знала, что они будут такими же: спокойными, уверенными, знающими, что делать.

Она инвентаризировала то, что уже теряла. Ещё не получив — уже теряла. Это было абсурдно, и она это понимала, и понимание не меняло ровным счётом ничего.

— М., послушай, — сказала Танечка, голос тёплый и чуть оживлённый, со смехом ещё от предыдущей фразы, которую М. пропустила мимо. — А ты помнишь, как Василич на выпускном?..

М. повернулась к ней. Улыбнулась — именно так, как надо: с интересом, с теплотой, с той долей ностальгического веселья, которая уместна на встрече людей, не видевшихся тридцать лет. Кивнула. Даже, кажется, что-то ответила — что-то необременительное, маленькое, округлое по форме, не требующее продолжения.

Снаружи — ровная, собранная женщина. Красное платье, красная помада, всё на месте.

Внутри — тишина после обвала. Когда уже ничего не падает, но пыль ещё не осела.

Краем глаза — она всё равно видела его. Тело не отпускало. Тело вело свой собственный учёт, не спрашивая разрешения у разума.

Он сделал едва заметное движение — голова чуть наклонилась, совсем немного, почти ничего. Не поклон, не кивок. Что-то меньше — почти приветствие, которое можно было принять за случайный жест, если бы она не знала точно: оно предназначалось ей.

А потом он отвёл взгляд.

Первым.

М. смотрела, как он отворачивается — спокойно, без спешки, без той театральной медлительности, которая сигнализировала бы о намерении произвести впечатление. Просто отвёл взгляд. Так отводят взгляд от вещи, которую решили взять, — не прощаясь с ней, а просто зная: она никуда не денется.

Что-то тёплое разлилось под рёбрами — и сразу же стянулось в узел. Она поняла это не как облегчение и не как разочарование. Она поняла это как начало.

Не конец напряжения. Начало.

Это не всё, — сказало что-то в ней, то самое, старше слов и старше разума. *Это только первое слово. Дальше будет предложение.*

Она взяла бокал.

Пальцы были совершенно спокойны.

Она это отметила — почти с удивлением, почти с уважением к собственному телу, которое умело держать форму даже тогда, когда внутри уже ничего не держалось. Бокал. Глоток. Лёгкое покалывание холодного вина на языке, кислинка, потом — тепло. Танечка всё ещё что-то рассказывала, и голос её был добрый и чуть смешливый, и Лида смеялась, и Ольга наклонилась к соседке, — весь стол жил своей жизнью, тёплой и безопасной.

М. улыбалась. Кивала. Присутствовала.

И знала, что тепло под рёбрами не уйдёт. Что оно уже решило остаться — тихо, глубоко, как что-то, нашедшее своё место.

Она не искала его взглядом больше.

Не потому что не хотела. Потому что незачем было искать то, что уже знаешь: никуда не денется.

* * *

Рыжая Ольга смотрела на неё.

Не со злым умыслом — просто смотрела. С тем необъяснимым женским чутьём, которое безошибочно улавливает паузу там, где паузы быть не должно. М. это почувствовала раньше, чем успела поправить улыбку.

— Ты что-то сказала? — спросила Ольга.

— Нет, — ответила М. — Нет, я слушаю.

Это было неправдой, и обе это знали. Ольга чуть скосила взгляд — в ту сторону, куда смотрела М. несколько секунд назад. Потом снова перевела глаза на неё. Лида к этому моменту уже не слушала соседку — она улыбалась. Тихо, почти про себя, с той особенной лукавостью, которую тридцать лет дружбы производят в женщине примерно так же надёжно, как тридцать лет тренировок производят хорошего боксёра.

М. взяла бокал.

Медленно. Давая руке что-то сделать — пока голова решала, что именно сейчас нужно говорить.

— Знаете, а у вас тут наливают лучше, чем в прошлый раз, — сказала она. — Я помню, на двадцатилетии подавали что-то совершенно не то.

— На двадцатилетии, — подхватила Танечка с готовностью, — подавали то, что осталось от банкета в соседнем зале, это был полный позор.

— Вот именно, — кивнула М.

За столом засмеялись. Разговор снова пошёл — живой, разветвлённый, наполненный теми именами и теми историями, которые возможны только здесь, только на таких вечерах, только между людьми, чьё детство осталось в одном и том же месте. М. присутствовала в этом разговоре — исправно, почти убедительно. Кивала. Вставляла реплики. Смеялась в нужных местах.

Ольга переглянулась с Лидой.

М. сделала вид, что не заметила.

Просто красивый мужчина, — сказала она себе. Спокойно, почти скучно. *Просто одноклассник из параллельного. Просто кто-то, с кем вы учились в одной школе и ни разу не поговорили — потому что так бывает, потому что в маленьком городе есть своя невидимая геометрия, свои притяжения и отталкивания. Просто вечер, который закончится через час. Может, через два. А потом будет дорога, четыре часа за рулём, Москва, её двадцать пятый этаж — и всё это окажется тем, чем является: случайным февральским эпизодом без последствий.*

Ни одному слову она не верила.

Это было почти смешно — слышать, как здравый смысл говорит правильные вещи правильным голосом, и при этом совершенно точно знать, что он лжёт. Не нарочно. Он и сам не понимал этого. Он просто делал то, для чего существовал — перечислял факты, выстраивал доводы, пытался объяснить то, что объяснению не подлежало.

Внутри что-то тихо и уверенно смеялось над ним.

— Говорят, он из Москвы теперь, — сказала Лида.

Вполголоса. Небрежно. Как бросают монету в фонтан — не всерьёз, не ожидая результата, просто потому что так делают.

— Строительство какое-то, большой человек.

М. кивнула.

Она кивнула очень хорошо. Именно так, как кивают, когда слышат информацию, которая не имеет к ним никакого отношения: с лёгким, чуть рассеянным интересом, с готовностью перейти к следующей теме. Это был безупречный кивок. Она им почти гордилась.

Сердце в это время сделало один лишний удар. Просто один. Тихий и очень точный, как подпись под документом.

— Ага, — произнесла она.

И взяла ещё один глоток.

Он стоял там. Она не оборачивалась — не позволяла себе, — но это ничего не меняло. Знание сидело в ней где-то между лопатками, острое и абсолютно точное, как игла, воткнутая в карту. Вот здесь. Именно здесь. На таком расстоянии — она могла бы назвать его в шагах, хотя и не считала. Вот так стоит — чуть повернувшись, разговаривая с кем-то, жестикулируя — она не видела этого, она это знала, так же как знала, что за окном зима, не глядя на окно.

Это было неудобно. Совершенно неудобно и совершенно невозможно отменить.

Тело не спрашивало у неё разрешения. Тело вело свой собственный учёт — тихий, методичный, равнодушный к её доводам. Оно просто знало, где он находится, как знают север по компасу, не думая об этом, не объясняя — просто знают, и всё.

Танечка заговорила о чём-то, что случилось на двадцатипятилетии выпуска — какая-то история с тостом, с дядей Колей и его баяном, — и стол оживился снова, и смех был настоящим, и М. смеялась вместе со всеми.

А игла сидела там, где сидела.

И не двигалась.

И не думала двигаться.

* * *

Он двигался.

Она не смотрела — она никогда не смотрела прямо, в этом и было её спасение, так она себе говорила, — но знание жило в ней помимо взгляда, помимо воли, помимо всякого разумного объяснения. Он двигался через зал, и она отслеживала это так же, как отслеживают движение грозы за горизонтом: не видя, но чувствуя всей поверхностью кожи нарастающее давление воздуха.

Остановился. Поздоровался с кем-то — рукопожатие, наверное, или хлопок по плечу, что-то мужское, краткое. Снова двинулся.

Ближе.

— …а помнишь, как Колькин баян потом на сцене оставили? — говорила Танечка, и стол смеялся, и М. смеялась вместе с ним — и смех был совершенно настоящим, потому что история была действительно смешной, и она совершенно точно не могла бы сейчас пересказать, о чём эта история.

Он снова остановился. Левее, чуть сзади. Ещё один разговор.

М. поставила бокал. Взяла. Поставила снова.

Где-то в ней — очень глубоко, в том месте, где здравый смысл обычно не доходит, — поднялась одна-единственная мысль. Не тревога, не вопрос, не рассуждение. Просто воспоминание, острое и некстати, как заноза.

Море.

Январь три года назад — нет, ещё раньше, весна, или осень, неважно, — нет, это было позже, уже после больницы, уже после того, как врачи разводили руками и говорили «удивительно, молодая женщина, сердце»; это было то утро на берегу, когда она стояла и смотрела, как волна накатывает и уходит, накатывает и уходит, и белая пена таяла на камнях, и она думала только одно: я хочу жить. Просто жить. Без страха, без этого яда в чашке с чаем, без ночных звонков, без сна с отцом, который пришёл и сказал встань и беги — потому что он знал, потому что с того света, наверное, видно дальше, чем с этого.

Она тогда пообещала себе. Стоя у воды, с солью на губах, которую занёс ветер. Пообещала, что больше не будет бояться жить. Что больше не будет делать вид, что ничего не происходит, когда всё происходит.

Жизнь, подумала она сейчас, с некоторым мрачным восхищением, умеет быть очень жестокой в своих подарках.

Он стоял у края её стола.

Она это поняла по тому, как изменился воздух. Не метафорически — буквально: что-то сдвинулось в пространстве за её правым плечом, какая-то плотность, присутствие, и тело это зафиксировало раньше, чем разум успел вмешаться. Лида перестала говорить на полуслове. Рыжая Ольга подняла взгляд куда-то чуть выше головы М.

Медленно. Она поднимала взгляд очень медленно.

Так поднимают, когда знают: вот сейчас, после этого момента — уже не как прежде. Когда ещё можно не смотреть и тем самым немного оттянуть то, что и без этого неизбежно. Глупость, конечно. Младенческая логика: если зажмурить глаза, тигр уйдёт. Тигры не уходят. Она это знала.

Она посмотрела.

Вблизи он был ещё — другим. Не больше, чем издалека, не страшнее, не лучше — просто другим, как другой бывает вещь, когда берёшь её в руки после того, как долго смотрела на неё с расстояния. Что-то в пропорциях лица, в том, как стоял — чуть развернувшись, без суеты, как стоят люди, которые не привыкли объяснять своё присутствие где-либо. Истинный лев, подумала она — и сама удивилась этому слову, оно пришло само, точное и совершенно лишнее одновременно.

А потом — запах.

Едва. На расстоянии, которое ещё не было близостью, ещё не нарушало никаких условных границ, — всего лишь стоял у края стола, — и всё же. Что-то тёплое, смолистое, с тёмной нотой, которую она не могла назвать, потому что никогда прежде не встречала. Не парфюм сам по себе — то, как он ложился на тепло кожи, как становился чем-то третьим, ни флаконом, ни человеком, а их соединением. Родное. Это было совершенно абсурдное слово для человека, которого она видела второй раз в жизни — первый не считается, первый был просто силуэтом у дальней стены, она сама себе не позволила считать тот момент встречей, — и тем не менее. Родное.

Она не понимала, как это возможно.

Тело знало. Тело вело свою летопись по законам, до которых разуму было не добраться, и в этой летописи они, видимо, уже были знакомы — давно, раньше этого февраля, раньше этого зала с советскими люстрами и запахом оттаявших шуб; раньше, чем она могла объяснить.

Взгляды встретились.

Пауза была короткой. Один удар — может быть, два; время в эти секунды вело себя нечестно, сжималось и растягивалось по собственному усмотрению, не спрашивая. Он смотрел на неё. Она смотрела на него. И в этой тишине — в паузе, которую никто не называл паузой, в промежутке, который снаружи, наверное, выглядел просто как секунда перед знакомством, — что-то уже было решено.

Не ею. Не им.

Просто — решено.

Она не знала, что именно. Не позволяла себе додумать. Но ощущение было такое, будто где-то в невидимом реестре, который ведут не люди, кто-то поставил галочку и перевернул страницу.

Он ещё не сказал ни слова.

Она тоже.

И молчание это было необычайным — не неловким, не пустым, а каким-то другим, наполненным под завязку, как бывает наполнен воздух перед грозой: тяжело, почти невыносимо, и при этом хочется дышать именно им, и никаким другим.

* * *

Голос его был низким.

Не намеренно — не тем низким, которым говорят специально, выстраивая впечатление, — а просто таким, каким бывает голос у человека, который с ним давно и без усилий свыкся. Тёмным, если применять к звуку цвет. Тем оттенком тёмного, что не давит, а обволакивает — как бархат кресла у камина, как пространство за последним рядом в театре, где свет уже не достаёт.

— Кажется, мы учились в параллельных, — произнёс он. — Я из «А».

Больше ничего. Просто это.

И она потеряла нить.

Не слова — слова она слышала, они долетели, сложились в смысл, она всё поняла. Потеряла именно нить: ту, что держит человека в разговоре, не даёт плыть, позволяет отвечать в нужный момент. Нить оборвалась — и секунду, может, чуть дольше секунды, она находилась не в этом зале, не за этим столом с советскими люстрами и запахом чужих духов, а где-то в промежутке между тем, что только что было, и тем, что происходило сейчас, — и промежуток этот был странно просторным для своих размеров.

Голос человека — это его суть, подумала она. Обнажённая без разрешения, без предупреждения, без возможности спрятать. Лицо можно держать, осанку — тренировать, слова — выбирать. Но голос выдаёт раньше. Голос — это то, что человек есть до того, как решил, кем будет сегодня вечером.

И этот голос она, кажется, слышала.

Не здесь. Не в этом зале, не в этой жизни — или в этой, но в каком-то её слое, куда разум не ходит, куда только что-то другое добирается иногда, во сне, в том промежутке между сном и пробуждением, когда ещё можно знать то, что днём забывается. Она слышала этот голос там. Давно. И узнала — не разумом, нет, разум бы такого не допустил, — узнала тем, чем узнают запах хлеба из детства или мелодию, которую не помнишь, но которая вдруг делает глаза влажными.

Она взяла себя в руки.

Не долго — времени прошло меньше, чем потребовалось бы, чтобы это заметить. Она умела это: выстраивать ровную поверхность быстро, почти без усилий, так, чтобы снаружи не было видно, что под ней только что что-то сдвинулось.

— «А», — ответила она и улыбнулась — легко, почти небрежно, той улыбкой, которой умеют улыбаться только женщины, прошедшие через достаточно, чтобы знать: спокойствие — это тоже выбор. — Мы соседи по алфавиту.

Она назвала своё имя.

Обычное. Своё. Имя, которое она носила сорок семь лет и которое сейчас — произнесённое вслух, в его сторону, в это пространство между ними — вдруг показалось ей новым. Как будто она только что дала его, а не несла всю жизнь.

Под стулом земля была немного — чуть-чуть — менее твёрдой, чем обычно. Она это отметила и решила, что не будет с этим ничего делать.

Краем зрения — она давно научилась видеть краем зрения, это вырабатывается само, когда долго живёшь в ситуации, где важно замечать всё — она уловила, что за столом что-то изменилось. Лида смотрела в свой бокал с таким сосредоточенным вниманием, с каким смотрят в бокал только тогда, когда нужно не смотреть в другую сторону. Ольга изучала скатерть — там не было ничего, что стоило изучать, и обе они это знали, и она знала, что обе они это знают.

Она не так хорошо скрывала происходящее, как ей казалось.

Это было неприятно — не то чтобы совсем неприятно, скорее неловко, как неловко бывает, когда тебя поймали на чём-то, что ты сам ещё не успел назвать. Она не поняла, что именно выдало её — может, секундная пауза, может, что-то в том, как она подняла глаза, когда он заговорил, — но что-то выдало. Подруги молчали и смотрели мимо, и это их молчание было громче любого вопроса.

Она мысленно сделала пометку: держаться ровнее.

И подняла взгляд.

Он смотрел на неё.

Это само по себе не было ничем — люди смотрят друг на друга, когда разговаривают, это не означает ничего особенного, это просто вежливость, просто обычный человеческий контакт. Но он смотрел на секунду дольше, чем требовала вежливость. На одну секунду, может быть, на полторы — совсем немного, почти ничто, снаружи и вовсе незаметно.

Она прочитала то, что не должна была читать так рано.

Он тоже что-то почувствовал.

Она не знала — что именно, не позволяла себе додумывать, это было бы слишком самонадеянно, слишком похоже на то, во что хочется верить, а верить в то, во что хочется, она себе давно не разрешала. Но — что-то. Что-то было в этом взгляде, в этой лишней секунде, что-то, что она не умела объяснить и что не нуждалось в объяснении, потому что такие вещи либо знаешь, либо нет, и она знала.

Это знание упало в неё, как камень в тихую воду.

Она почти услышала — как он касается поверхности, как уходит, как начинают расходиться круги. Медленно. Неостановимо. Далеко.

Она понимала: круги пойдут долго.

Она ещё не знала — насколько. Ещё не знала, что это тихое, почти необъяснимое мгновение — взгляд на полторы секунды дольше, голос, который она слышала раньше, чем встретила, запах, который уже назвала родным, не спросив у себя разрешения, — что всё это уже есть начало. Что страница перевёрнута. Что галочка поставлена — не ею, не им — просто поставлена, в том реестре, куда не заглядывают, но который ведётся.

За столом Лида отпила из бокала.

Ольга переложила вилку.

Он сказал что-то ещё — светское, необязательное, о том, как изменился город, или о том, сколько народу пришло, она не запомнила точно, потому что снова слышала прежде всего голос, а не слова. Она отвечала — ровно, с тем же лёгким светским выражением, которое умела держать столько, сколько нужно.

Снаружи — любезность. Ничего лишнего.

Внутри — что-то, чему она ещё не дала имени. Что-то, чему имя ещё предстоит дать — позже, потом, не сейчас.

Она не знала только одного: что «потом» окажется совсем скоро.

Глава 5. Первый танец, первый вдох

Она вернулась к столу и взяла бокал.

Это был жест, только жест — чтобы занять руки, чтобы было куда смотреть, пока не восстановится равновесие. Вино было белым, холодным, чуть кислым на языке, и она держала его двумя пальцами за ножку с той преувеличенной аккуратностью, с которой держат что-то хрупкое, когда руки слегка дрожат.

Они не дрожали. Она проверила — незаметно, не поднимая к глазам, просто по ощущению в пальцах. Нет, не дрожали. Хорошо.

Внутри было совсем другое. Внутри пол ещё не совсем выровнялся — он как будто слегка накренился под каблуками, самую малость, на градус или два, ровно настолько, чтобы нельзя было сказать наверняка: это зал качается или это она. Знакомое, почти физическое ощущение — так бывает, когда поезд трогается, а кажется, будто двигается перрон.

Перрон не двигается. Это всегда поезд.

—...помнишь, как Светлана Николавна заставляла нас петь «Тонкую рябину»? — говорила Танечка, разливая вино с той щедростью, которая появляется на третьем часу вечера. — Хор у нас был, конечно, катастрофический. Я всегда пела чуть мимо, и она делала вот такое лицо...

Танечка изобразила лицо — страдальческое, с поджатыми губами, — и за столом засмеялись. М. тоже засмеялась. Слышала собственный смех как будто с небольшого расстояния: правильный по тону, по длительности, вовремя начавшийся и вовремя закончившийся. Профессиональный почти смех — тот, которым пользуются на совещаниях, когда директор рассказывает шутку.

— Там же ещё Вовка Сидоров стоял на последнем ряду и открывал рот, но не пел вообще, — добавила она. — Просто открывал. Артикулировал.

— О, я помню Вовку! — оживилась Танечка. — Он сейчас в Краснодаре, говорят. Строительный бизнес.

М. кивнула. Слова правильно складывались в ответы, ответы правильно складывались в разговор. Всё работало, как должно. Она была здесь, за этим столом, с этими женщинами, которых знала тридцать лет назад и не видела большую часть этих тридцати лет, — и вполне справлялась.

Краем глаза она поймала его — как он переходит к другому столу.

Не смотрела. Просто увидела. Периферийное зрение — вещь честная, оно не спрашивает разрешения. Он остановился у дальнего края зала, наклонился к кому-то, пожал руку, засмеялся — свободно, как смеются люди, которым не нужно контролировать, как они выглядят, когда смеются. Потом выпрямился. Снова стал виден в полный рост над головами других, и снова было это ощущение — что пространство вокруг него другое. Плотнее. Или, наоборот, просторнее. Она не могла точно определить.

Раздражало это. Раздражало, что она вообще это замечает.

Он переместился ещё раз — к следующему столу, к следующей группе. Уверенно, без усилия, как человек, которому везде комфортно, потому что несёт своё пространство с собой. Это тоже раздражало. Она знала таких мужчин — редко, но знала: они не входят в комнату, они занимают её. И при этом, что самое несправедливое, не делают этого специально. Это просто то, как они устроены.

Именно поэтому это притягивало.

Она отпила ещё вина и решительно перевела взгляд на Танечку.

—...и что самое смешное — он так и не женился, — заканчивала Танечка какую-то историю, которую М. пропустила. — Вот уже сколько лет.

— Некоторые так лучше живут, — сказала М.

Лида сидела справа, чуть повернувшись к ней, и взгляд этот М. почувствовала раньше, чем услышала вопрос. Лида умела смотреть именно так — внимательно и мягко, без нажима, с видом человека, который подождёт столько, сколько нужно.

— Ты его знала раньше? — спросила Лида тихо, почти на ухо. — Ну, того... который подходил.

М. покачала головой.

— Параллельный класс, — сказала она. — Не пересекались.

Она ответила слишком быстро. Знала это. Лида тоже знала — потому что задержала взгляд ещё на секунду, с тем же выражением, потом кивнула и отвернулась к Танечке. Не стала настаивать. Это был знак уважения, и М. была ему благодарна почти до боли.

Она взяла бокал, отпила, поставила.

Хорошо. Хорошо.

Она — HR-директор. Принимала людей на работу и увольняла их, умела это делать так, чтобы ни те, ни другие не уходили с ощущением катастрофы. Вела переговоры. Читала людей прежде, чем они успевали открыть рот. Пережила суды, длившиеся дольше, чем иные браки, и угрозы, которые приходили в три часа ночи и которым она не открывала дверь — ни буквально, ни внутри. Вышла оттуда. Стояла у зеркала в новой квартире — своей, только своей, никем не отравленной, — и видела женщину, которая выжила.

Феникс. Она думала о себе так иногда, в хорошие дни. Пусть с обломанными крыльями поначалу, пусть с болью в каждом движении — но поднявшаяся.

Один мужчина на вечере выпускников.

Один. Мужчина. На. Вечере. Выпускников.

Не может так просто — вот этим взглядом, лишней секундой, голосом, который она узнала раньше, чем увидела лицо, — не может так просто выбить почву из-под ног. Это нелепо. Это в каком-то смысле даже оскорбительно — что после всего, через что она прошла, после всей этой выкованной в судах и больничных коридорах твёрдости, хватает одного взгляда.

Она убеждала себя.

Не убеждалась.

Это тоже было своего рода честность — не позволять себе притворяться перед самой собой. Она не убеждалась, и ладно. Значит, просто держать форму. Форму она умеет держать.

Оркестр на маленькой сцене в дальнем конце зала что-то объявил — она не расслышала слов, только уловила изменение в воздухе зала, ту едва различимую смену, которая бывает, когда музыканты берут паузу и переговариваются между собой. Потом зазвучало — медленно, мягко, первые такты неспешной мелодии, что-то знакомое из той эпохи, когда все они были совсем другими людьми в совсем другом городе.

Несколько пар поднялись. Кто-то засмеялся у соседнего стола — мужчина тянул за руку женщину, она отказывалась, потом согласилась.

М. поставила бокал.

Внутри что-то сжалось. Не страх — не совсем страх. Скорее то ощущение, которое бывает на самом краю высокого берега: и не прыгаешь, и не уходишь, и стоишь, и смотришь вниз, и знаешь, что вода холодная, и всё равно стоишь.

Предчувствие. Она не любила его — это конкретное, острое предчувствие, которое бывает только тогда, когда что-то действительно вот-вот случится и уже не остановить.

Она не смотрела в ту сторону зала, где в последний раз видела его краем глаза.

Смотрела на своё отражение в тёмном стекле окна — смутное, в красном, с правильно сложенными руками на столе — и думала: держись ровнее.

Музыка шла.

* * *

Она его не слышала.

Точнее — не слышала, как он подходил. Оркестр наигрывал что-то неспешное, в три четверти, и зал стал чуть мягче, чуть темнее от того, что несколько пар вышли танцевать, и внимание людей за столами рассеялось, перетекло к танцполу. Лида что-то говорила — про кого-то из бывших одноклассников, про дачный участок, про дочь, — и М. кивала, держала бокал, глядела в тёмное стекло окна, где плавало её собственное отражение в красном.

Держись ровнее.

Она держалась.

А потом что-то изменилось в воздухе — вот так, без предупреждения, без звука шагов, без скрипа паркета. Просто стало теплее с правой стороны. Тепло исходило не от свечей и не от соседних тел — оно было другим, направленным, почти осязаемым, как луч, который ловишь ладонью в солнечный день. И следом — запах. Смола. Что-то тёмное под ней, похожее на разогретое дерево или на дым от камина, но не дым — что-то живое, земное, невыносимо знакомое, хотя она была совершенно убеждена, что прежде никогда его не знала.

Тело узнало раньше, чем разум успел выставить возражения.

М. не повернула головы. Но она уже знала.

— Позвольте?

Внутри вспыхнуло одно слово: бежать. Бежать — и сразу же никуда, потому что ноги не слушались, а тело уже всё решило без неё.

Голос упал справа и чуть сзади — негромко, без театральности, как будто это был самый обыкновенный вопрос в самой обыкновенной жизни. Она повернулась — медленно, потому что медленно было правильнее, медленно означало: я не ждала, я не смотрела, я не считала секунды с той минуты, как он отошёл от её стола в первый раз.

Он стоял очень близко.

Ближе, чем требует светский этикет. Не нарушая его — нет, именно что в рамках приличий, — но у самой границы этих рамок, там, где ещё можно, но уже ощущается. Рука была протянута ладонью вверх — широкая, тёмная от загара даже в феврале, с коротко остриженными ногтями, уверенная рука человека, который не привык к тому, что ему отказывают. Не вопрос. Не просьба. Приглашение как констатация факта: мы сейчас пойдём танцевать.

Правильный ответ существовал.

Она знала его. Могла произнести — с улыбкой, с лёгким наклоном головы, с той светской непринуждённостью, которой у неё хватало на всё остальное этим вечером: «Благодарю, я не танцую» — и вернуться к Лиде, к разговору о дачном участке, к бокалу с вином, к своему отражению в тёмном стекле.

Она это знала.

Её ладонь легла в его.

Не было момента решения. Вот его рука — открытая, ждущая — и вот её рука уже в ней, и пальцы его сомкнулись — негромко, без нажима, но так, что стало понятно: не отпустит, пока она сама не попросит. А она не попросит. Это тоже было понятно — сразу, немедленно, с той оглушительной ясностью, с которой она, стоя у края высокого берега, вдруг понимает, что прыгнет.

За спиной замолчала Лида.

М. не обернулась. Чувствовала это молчание физически — как прикосновение, как взгляд, который трогает лопатки. Рыжая Ольга, должно быть, тоже подняла глаза от скатерти. Танечка — та, пожалуй, уже потянулась к соседке с полушёпотом. Всё это было за её спиной, всё это было неважно, всё это существовало в каком-то другом слое реальности — более мелком и более шумном.

Она шла к танцполу.

Его рука переместилась к её спине — лёгкое, почти случайное касание, которое могло бы быть просто вежливым жестом, призванным обозначить направление движения. Ладонь легла чуть ниже лопатки, сквозь ткань красного платья, и М. почувствовала это так отчётливо, словно никакой ткани не существовало. Словно между его кожей и её кожей вообще не было ничего, кроме тепла, которое немедленно поднялось вверх по позвоночнику и рассыпалось в основании шеи мелкой дрожью.

Она сделала шаг. Потом ещё один.

Внутри было тихо.

Не тишина испуга — и не тишина человека, который так долго держался и так устал держаться, что когда что-то наконец случилось — настоящее, живое, горячее, — внутри наступает не паника, а покой. Странный, невозможный, неуместный покой. Как будто тело сказало: вот. Вот оно. Я ждало — и вот.

Она думала: это нелепо. Я не верю в подобные вещи.

Она думала: я пропала.

Обе мысли существовали одновременно, не противореча друг другу, — как два голоса в хоре, которые поют разные партии, но составляют одно целое.

Оркестр не торопился. Мелодия была неспешной, чуть старомодной — из тех, что помнят не умом, а костями, из тех, под которые кружились в актовых залах за десятки лет до них, и после них будут кружиться тоже. Несколько пар уже двигались — плавно, привычно, как люди, которым танец давно не требует усилий. Свечи на столах дрожали от сквозняка.

М. сделала последний шаг к танцполу.

Его рука у её спины не убралась. Осталась — ровно так же, ровно той же тяжестью, — и это «осталась» было ответом на вопрос, который М. не успела задать вслух.

Вот оно.

Она позволила себе одну секунду закрыть глаза — совсем коротко, на вдохе, пока он ещё не видит её лица в полный фас, пока смотрит чуть в сторону, направляя её между другими парами. Один вдох. Смола и тёмное тепло, и что-то ещё — неназываемое, то самое, что тело узнало прежде разума.

Она открыла глаза.

Держись ровнее.

Это она умела.

* * *

Его рука легла на её талию.

Не осторожно. Не вопросительно. Уверенно — так, как кладут руку на то, что уже знают: на рукоять знакомого инструмента, на спинку стула, в котором привыкли сидеть. Ладонь нашла место у её талии, и М. почувствовала это сквозь красный шёлк так отчётливо, что на мгновение забыла, что её собственная рука — та, которую надо было куда-то деть — всё ещё висит в воздухе.

Она положила её на его плечо.

Под пиджаком жило тепло. Не ткань, не плечо в его светском, официальном смысле — живое, горячее, едва различимое через тёмный шерстяной слой биение чего-то, что существовало само по себе, независимо от её воли и от этого вечера, и от всего, что было раньше.

Оркестр тянул мелодию — неспешно, чуть вальяжно, как человек, которому некуда торопиться. Старомодную. Из тех, что хранятся не в памяти, а в костях: в том слое, который никогда не бывает молодым и никогда не стареет.

Они двинулись.

И вот здесь случилось то, чего М. не ожидала — хотя она уже устала здесь что-либо ожидать или не ожидать. Её тело знало этот шаг. Его шаг. Знало ритм, знало расстояние, знало, когда чуть податься вправо, а когда позволить себе вести. Они совпали — без слов, без корот-

ких неловких «простите» и поправок, без той обычной первой минуты, когда два человека притираются друг к другу в танце и пытаются угадать логику партнёра. Ничего этого не было.

Было только движение. Совпавшее. Точное. Как будто так было всегда.

«Это невозможно», — мелькнуло у неё. И тут же поправилась: «Это происходит».

Свечи на столах дрожали. Кто-то смеялся у дальней стены — громко, по-южному, запрокинув голову. Несколько пар скользили рядом, привычно и необязательно. Зал был тем, чем всегда бывают такие залы — чуть шумным, чуть тёплым, пахнущим едой и духами и старым паркетом, — но всё это отступило на второй план, в тот слой реальности, который существует, но не требует внимания.

Он наклонился чуть ближе.

— Здесь мало что изменилось, — произнёс он тихо, и она почувствовала, как его голос проходит не через уши, а через кожу, через то место у виска, которое никогда ничего не чувствует. — Те же стены. Тот же паркет, кажется.

И вот тут — вот в эту секунду, пока он говорил про паркет и стены, пока она собиралась ответить что-то светское и необязательное — она вдохнула.

Просто вдохнула. Потому что так работает дыхание — оно случается само, без спроса.

Смола. Тёплая кожа. Едва уловимая горечь — как дерево на солнце, как осенний лес после дождя, как что-то, у чего нет названия в парфюмерных каталогах, потому что это не парфюм, это просто он. Этот запах не был чужим. Не был новым. Он был — вот единственное точное слово, которое нашлось, — родным.

Земля ушла из-под ног.

Не метафора. Не литературный оборот. Буквально — на долю секунды — пол перестал быть твёрдым, и М. поняла, что стоит не на паркете, а на чём-то зыбком, на чём-то, что продолжает держать, но уже по другим законам. По законам, которые она не выбирала и которые не спрашивали её согласия.

«Я пропала, — осознала она ровно. — Окончательно. Ещё до того, как он скажет следующее слово».

Это было знание — не паника, не сладкое предвкушение, не тревога. Просто знание. Как знаешь, что наступило утро, ещё не открыв глаза: по свету сквозь веки, по запаху воздуха, по тому, как изменился сам воздух. Вот так. Она знала.

И с этим знанием внутри — спокойным, бесповоротным, слегка похожим на приговор — она улыбнулась.

— Здесь всегда умели хранить то, что имеет смысл хранить, — сказала М., и голос вышел ровным. Светским. Чуть с иронией, но доброй — той, которая уместна на вечерах подобного рода. — Паркет, судя по всему, входит в список.

Он усмехнулся. Она это почувствовала раньше, чем увидела: по едва заметному изменению в плечах — не напряжение, а наоборот, лёгкое отпускание, как бывает у людей, которым понравился ответ. Он не ожидал иронии. Или ожидал — и она всё равно ему понравилась.

Она не позволила себе смотреть на него слишком долго. Взгляд — в сторону, на свечи, на пары, на что угодно. Она умела держать форму. Это было единственное, чему научили её последние три года: держать форму, когда внутри всё рушится. Улыбаться, когда хочется закрыть лицо руками. Говорить светски и легко, когда тело пронизывает та самая дрожь — мелкая, у основания шеи, та самая, что поднялась по позвоночнику, когда его ладонь коснулась её спины впервые.

Они плыли в ритме. Совпадали. Это само по себе было невыносимо.

А потом его рука на её талии сдвинулась.

На сантиметр. Не больше. Едва — как будто случайно, как будто просто движение в танце так распорядилось, как будто вообще ничего не произошло. Ладонь переместилась чуть ниже,

чуть вернее, чуть увереннее — и этот сдвиг на один сантиметр был вопросом. Она поняла это немедленно, всей кожей, всем тем слоем себя, который никогда не ошибается в таких вещах.

Вопросом, на который она не готова была отвечать вслух.

На который внутри уже ответила.

Свечи дрожали. Оркестр держал мелодию. Зал жил своей жизнью — громкой, праздничной, немного сентиментальной, как всегда бывает, когда люди собираются через тридцать лет и смотрят друг на друга поверх прошлого.

М. смотрела чуть в сторону от его лица — на линию чужого плеча где-то за ним, на свет, на воздух — и ощущала его ладонь на своей талии так, как чувствуют ожог: долго после того, как убрали руку.

Только руку никто не убирал.

* * *

— Скажите мне вот что, — произнёс он, и голос снизился ровно настолько, чтобы стать разговором, а не светской репликой в пространство зала. — Мы учились в одной школе десять лет. Почему я вас не знал?

В этом была лёгкость — та особая, чуть усмехающаяся интонация человека, который позволяет себе удивляться вслух. Но за ней стояло нечто другое. Что-то похожее на упрёк. Не ей — скорее обстоятельствам. Или времени. Или им обоим.

М. позволила себе секунду — одну — прежде чем ответить.

— Да, параллельный класс — это почти другая страна, — сказала она. — Со своими традициями, своими легендами и полным взаимным безразличием к соседним территориям.

Это была правда, изложенная с иронией. Безопаснее, чем правда без иронии.

Он помолчал. Они шли в такт — нет, не шли, плыли, потому что у этого движения не было усилия, была только мелодия и его рука на её талии, и всё это вместе происходило само, без участия воли. М. отметила это краем сознания и убрала наблюдение подальше, туда, где хранятся вещи, которые пока нельзя рассматривать.

— Другая страна с теми же коридорами, — произнёс он наконец.

Пауза. Долгая, как будто он что-то взвешивал — или просто давал фразе повиснуть в воздухе, потому что умел это делать. Потом:

— Значит, я плохо смотрел.

Вот здесь что-то случилось. Не снаружи — снаружи ничего не случилось, она держала лицо, держала улыбку, держала взгляд чуть в сторону от его лица. Но внутри — короткий, острый укол тепла, как от неожиданного глотка горячего чая в холодный день. Быстрый. И остаётся.

Бровь слегка поднялась — сама, без её разрешения.

— Или я была хорошо спрятана, — ответила М., и это вышло легче, чем она ожидала.

Он снова усмехнулся. Она опять почувствовала это раньше, чем успела увидеть: по тому, как изменилось дыхание рядом — чуть теплее, чуть ближе.

Нужно было уйти от этого. От этой близости, которая нарастала не физически — физически они держали вполне приличную дистанцию, — а иначе. Иначе.

— Вы давно в Москве? — спросила она, переключая. — Чем занимаетесь?

Это звучало как светский разговор. Именно так и должно было звучать.

Он ответил коротко — строительство, холдинг, много поездок. Никаких деталей. Слова как вехи, не как рассказ. Она слушала и понимала: он не хочет говорить о внешнем. Так же, как и она. Факты — это не то, что сейчас происходит между ними. Факты — это декорация, которую оба вежливо поддерживают, потому что без декораций слишком очевидно, что именно здесь, в этом танце, разворачивается что-то совсем иное.

— А вы? — тут же вернул он вопрос.

— HR, — сказала она. — Люди. Их истории, их ошибки, их попытки быть лучше, чем они умеют.

— Звучит как призвание.

— Звучит как диагноз, — поправила она.

Он засмеялся. Тихо, но по-настоящему — не из вежливости, а потому что ему правда понравилось. И этот смех, тихий и настоящий, был, пожалуй, опаснее всего предыдущего.

Потом музыка чуть изменилась — мелодия не оборвалась, но сделала вздох, паузу внутри себя, как бывает перед переходом в следующую тему. И в этот вздох они оказались ближе. Не потому что кто-то шагнул — просто вот так вышло: пространство между ними стало меньше на что-то неизмеримое, на дыхание, на слой воздуха, и это стало заметно обоим сразу.

Он не отступил.

Она тоже.

Секунда. Может быть, две. Свечи дрожали на соседних столах. Где-то в зале кто-то засмеялся громко, и этот смех долетел до них, как звук с другого берега.

А потом они оба — одновременно, как будто не договариваясь — сделали полшага назад. Восстановили дистанцию. Вернули себе воздух.

Он тоже это почувствовал, — и это знание улеглось внутри спокойно и неотвратимо, как укладывается камень на дно.

Оркестр снова набрал силу.

— Вы январская? — спросил он немного спустя, и в этом вопросе было что-то слишком точное, чтобы быть случайным.

— Январская, — подтвердила она. — Самое начало.

— Понятно, — произнёс он с интонацией человека, которому действительно что-то стало понятно. — Январские упрямы.

Внутри поднялось что-то лёгкое — почти смех, но теплее.

— Это комплимент или предупреждение?

Он посмотрел на неё. Не мимо, не в сторону, не светски — прямо. Секунду. Чуть дольше, чем требовал вопрос. Дольше, чем требовала вежливость.

— Ещё не решил, — сказал он.

И вот здесь М. позволила себе улыбнуться по-настоящему. Не той улыбкой, которую она держала как форму весь вечер, а другой — живой, чуть опасной, той, которую она давно убрала за семь замков и которая вдруг открылась сама, без спроса.

Они танцевали. Зал жил вокруг них — голоса, бокалы, чужие воспоминания, чужие тридцать лет, сложенные поверх школьных коридоров. А здесь, в этом кругу из двух человек и медленной мелодии, шёл другой танец.

М. понимала это отчётливо — как понимаешь что-то, когда уже нет смысла притворяться, что не понимаешь. Каждое слово было шагом — проверкой, куда поставит ногу другой. Каждая пауза — прикосновением, осторожным и намеренным. Каждый уход от темы — способом сказать: *я вижу, куда мы идём, и пока не скажу об этом вслух*.

Она не знала правил этой игры.

Понимала это совершенно ясно: правил она не знает, карты не видит, ставки не объявлены. И впервые — впервые за очень долгое время, за годы, когда она учила себя не доверять тому, что кажется лёгким, — это незнание не пугало. Оно было похоже на воздух. На тот первый вздох после долгого задержанного дыхания.

Ей это нравилось.

Вот это было самым странным и самым настоящим: ей это нравилось.

Его ладонь по-прежнему лежала на её талии. Тепло от неё никуда не уходило — оно было там всё время, ровное и неотступное, как присутствие, которое не нужно проверять. Она не смотрела на его руку. Просто знала — всей кожей под тканью платья — что рука там есть. Что

он там есть. Что этот вечер, начавшийся как обычный сентиментальный ритуал тридцати лет спустя, уже необратимо стал чем-то иным.

Она умела держать форму.

Но феникс — это та птица, которую не обманешь: она знает огонь изнутри.

* * *

Музыка начала умирать.

Не сразу — постепенно, как умирает зимний день: сначала тень становится длиннее, потом гаснет один цвет, потом другой, и только потом понимаешь, что уже темно. Оркестр вёл мелодию всё медленнее, всё тише, растягивая последние такты так, словно и сам не хотел отпускать вечер. М. чувствовала это кожей — то, как музыка уходит, и то, как его ладонь на её талии от этого становится чуть тяжелее.

Не давление. Именно — присутствие.

Как будто рука его сама знала: время заканчивается, и незачем торопить конец.

Она не шевелилась. Зал вокруг жил своим — чьи-то голоса, звон бокала, далёкий женский смех, привет через тридцать лет незнакомой юности. Всё это оставалось там, на периферии, как картинка за мокрым стеклом. Здесь, в этом маленьком и необъяснимо точном пространстве между его плечом и её дыханием, время шло по-другому. Медленно. Почти нежно.

Последний такт.

Они остановились.

Он не убрал руку сразу. Она это заметила — не умом, а тем местом под рёбрами, где живут вещи, которым нет названий. Пауза длиной в удар сердца, не больше, но М. успела в ней прожить что-то целое и незаконченное одновременно.

Потом он посмотрел на неё.

Не светски. Не с той отточенной вежливостью, которой пользуются на подобных вечерах, чтобы смотреть, не видя. Иначе. Так, как смотрят на что-то, что уже решили запомнить. Взгляд человека, который фотографирует не камерой, а чем-то внутри — и снимок этот никуда не денется.

М. не отвела глаз.

Сказала себе: не отводи. И не отвела. Хотя внутри всё кричало — не кричало даже, а пело на той высокой ноте, которую уже не слышно ушами, — что нужно отступить, уйти в сторону, надеть обратно то привычное выражение лица, которое она носила весь вечер как хорошо подогнанное платье.

Она не отвела глаз.

И тогда он сказал — тихо, почти только для неё:

— Спасибо, М.

Её имя в его устах прозвучало не так, как звучало весь вечер из уст других — одноклассников, подруг, организаторов с бейджами. Он произнёс его так, как пробуют что-то на вкус, не торопясь, давая слогу лечь на язык и остаться там. Будто имя было новым. Будто он только что его открыл — и удивился тому, что нашёл.

М. не успела ответить.

Он отпустил её руку.

Медленно — именно медленно, это не было воображением, — его пальцы скользнули по её ладони. Лёгкое, почти невесомое движение, которое могло быть случайным. Которое не было случайным. Она знала это с той же безоговорочной ясностью, с какой знала в начале танца, что пропала: некоторые вещи тело понимает прежде разума, и разум потом только молча соглашается.

Он развернулся.

И пошёл — не оглядываясь, спокойно, с той уверенностью в плечах и в шаге, которая бывает только у людей, привыкших к тому, что их помнят. Высокая фигура. Тёмный пиджак. Зал расступался перед ним незаметно, сам собой, как расступается вода.

М. стояла.

Зал шумел, смеялся, звенел. Кто-то за соседним столом рассказывал историю про учителя физики, и все хохотали — громко, с удовольствием, с теплом тридцати лет, положенного на детское общее прошлое. Кто-то разливал вино. Кто-то фотографировался, прижавшись щекой к щеке. Обычный вечер. Обычная жизнь. Всё, как должно быть.

М. не слышала ничего.

Нет — слышала. Но звуки шли как сквозь воду: приглушённые, чужие, не касающиеся. Потому что внутри была тишина другого свойства — та плотная, звенящая тишина, которая бывает после чего-то очень важного, когда ещё не знаешь, что именно произошло, но уже знаешь, что — произошло.

Она стояла посреди зала и дышала.

Точнее — пыталась понять, дышит ли. Лёгкие, кажется, работали. Но воздух не был обычным воздухом — в нём стояло что-то, что она только что узнала и не умела назвать. Смола. Тепло. Лёгкая горечь, как у хорошего дерева после дождя. Его запах.

Он ушёл, а запах остался.

Остался на её плече там, где лежала его рука. Остался в том воздухе, который она вдохнула, когда он был близко — слишком близко, совершенно верное «слишком». Остался в ней самой — вот это было странно и отчётливо одновременно: не на коже, не в волосах, а глубже. Как будто она уже несёт его в себе. Уже.

Я дышу им.

Мысль пришла сама, без усилия, как приходят самые точные мысли — не из головы, а из того места, где не врут.

Уже сейчас. Уже — дышу.

М. не знала ещё, что это слово — «дышу» — станет её словом. Что она напишет его ему через несколько недель в первом длинном сообщении, и он не удивится, и она поймёт по этому — что он понимает. Что это слово будет жить между ними полтора года — негромко, без украшений, но с той точностью, которая дороже красоты. Она не знала ничего из этого. Ещё.

Она знала одно.

Что-то началось. Вот прямо здесь, в этом провинциальном зале с гирляндами и накрахмаленными скатертями, под музыку, которая уже смолкла. Что-то, чему она не знала имени — и это незнание не было страшным. Оно было тем самым воздухом, которого ей так долго не хватало. Первым вздохом.

И она не хотела это останавливать.

Вот что было правдой — последней, самой голой правдой этого вечера, этой остановившейся секунды посреди чужих голосов и чужого смеха: она не хотела останавливать. Феникс знает огонь изнутри и не боится тепла — даже когда понимает, что снова может сгореть.

Особенно — когда понимает.

М. медленно, как человек, который возвращается издалека, подняла голову. Нашла взглядом их стол — Танечка, Лида, рыжая Ольга. Свет свечей. Бокалы. Привычный берег.

Она пошла туда.

Несла в себе его запах, его взгляд, его пальцы на её ладони — всё это несла аккуратно, как несут что-то хрупкое. Как несут первый огонь в ладонях, боясь не того, что обожжёт, а того, что погаснет.

— Хорошо танцует, — сказала Танечка.

Просто так. Легко. Тоном человека, который говорит о погоде, потому что погода — это нейтральная территория. Она даже не смотрела на М. — смотрела куда-то в сторону сцены,

приподняв бровь с той особой светской рассеянностью, которую можно при желании принять за безразличие.

Лида молчала. Изучала скатерть — там, видимо, был очень интересный узор, который она раньше не замечала.

Рыжая Ольга смотрела прямо на М. Без слов. Просто — смотрела. Взгляд не был жёстким, не был вопросительным в том очевидном смысле, когда требуют объяснений. Он был внимательным — такой взгляд бывает у людей, которые много видели и умеют ждать.

М. не шевельнулась под этим взглядом. Вернее — шевельнулась внутри, но снаружи не позволила.

— Да, — сказала она. — Неплохо.

И удивилась собственному голосу — ровному, почти небрежному. Тридцать лет работы над собой. HR-директор умеет регулировать голос, как регулируют яркость экрана — в зависимости от освещения.

— Кстати, помните, как на выпускном Серёжа Котов уронил торт? — спросила она, и в этом «кстати» не было ничего, кроме намерения.

Смена темы. Безопасная территория. Давнее, школьное, то, что уже стало историей — не живой болью, а чем-то вроде старой фотографии, потёртой по краям.

Танечка засмеялась — искренне, с той готовностью, с которой смеются, когда предлагают спасательный круг и делают вид, что это просто история. Лида подняла наконец глаза от скатерти. Ольга чуть качнула головой и тоже потянулась к бокалу.

Они все трое всё поняли.

И все трое сделали вид, что нечего было понимать.

Вот почему я их люблю, — пронеслось у М. где-то на краю сознания, пока она смеялась над историей про торт. *За это именно — за умение не трогать то, что просит не трогать.*

А глубже, там, куда смех не доходил, крутилась другая мысль — странная и почти смешная сама по себе.

Она — М., пережившая то, после чего не выживают. Она, которая умеет читать людей насквозь, которая знает, когда человек врёт уже по первой интонации, по тому, как он смотрит чуть в сторону от твоих глаз. Она, которая два года разбиралась в судах с человеком, который, кажется, хотел её смерти, — и вышла. Вышла, представьте себе. Феникс, говорит сын, и она отмахивается, но про себя знает: да, что-то в этом роде. Что-то такое — не победа, но воскресение.

И вот эта женщина. Этот феникс. Этот HR-директор с пятнадцатилетним опытом и незаживающим, аккуратно упрятанным шрамом на месте, где раньше было доверие.

Сидит. И не может вспомнить, как дышать ровно.

Из-за одного танца. С одним мужчиной. Которого она не знала тридцать лет и не знает сейчас — кроме тепла его руки на её спине, кроме голоса, низкого и чуть насмешливого, кроме запаха, который всё ещё стоит в воздухе, который она всё ещё несёт в лёгких, вот прямо сейчас, пока смеётся над каким-то Серёжей Котовым и его несчастным тортом.

Что со мной происходит, — не то спрашивала, не то констатировала она. Без ответа. Ответ был очевиден и оттого совершенно бесполезен.

Она нашла его взглядом раньше, чем успела решить — искать или нет.

Он стоял у дальней стены. С кем-то — мужчиной примерно его возраста, широкоплечим, в сером пиджаке. Смеялся — откинув голову чуть назад, свободно, с той непринуждённостью, которую нельзя сыграть. Он был совершенно спокоен. Абсолютно. Как будто ничего не было. Как будто никакого танца, никакой руки на её спине, никакого мгновения — когда он замедлился, и она почувствовала, как воздух между ними становится плотнее.

Это было больно.

Вот это было неожиданно и нехорошо — что это больно. Она не успела подготовиться к этой боли, потому что не ожидала её. Чего ожидала? Что он будет стоять и смотреть на неё? Что он будет так же растерян, как она? Это было бы глупо. Это было бы по-детски.

Но боль была не детская. Боль была взрослая, тихая и очень точная — в том самом месте, которое она так тщательно берегла.

И в следующую секунду — она не могла объяснить, как это работает, но это работало именно так — боль стала чем-то другим. Не прошла. Но стала правильной. Как будто его спокойствие было не отсутствием, а — балансом. Как будто ровно один из них должен был стоять вот так — легко, устойчиво, не держась за только что случившееся, — чтобы второй мог позволить себе держаться. Нести.

Он стоит, — думала она, глядя, как он смеётся чему-то в ответ на слова собеседника. *А я несу. И это, наверное, правильно. Пока.*

Она отвела взгляд.

За столом всё ещё смеялись — Танечка уже рассказывала что-то своё, эстафета воспоминаний шла своим ходом, и это было хорошо. Это значило, что М. можно было просто сидеть, держать бокал, улыбаться в нужных местах. Это значило — её никто не трогает.

Завтра она уедет в Москву.

Мысль пришла неожиданно — тихая, почти бытовая. Рано поднимется. Соберёт сумку. Попрощается. Сядет в машину и поедет по зимней трассе в город, в свою жизнь — свою настоящую жизнь, с утренними совещаниями, с делами, с сыном, с тем ритмом, который она сама себе выстраивала по камешку после того, как прежний рассыпался.

Он тоже уедет. Скорее всего, тоже в Москву. Они живут в одном городе. Это абсурдно — встретиться здесь, в этом зале с гирляндами, и потом жить в одном городе и не знать об этом.

Или знать.

Вот этого она не знала ещё — что будет с этим «знать». Куда оно пойдёт. Пойдёт ли вообще.

Но — и вот это она знала совершенно точно, с той твёрдостью, которую не нужно проверять, — это не конец. То, что произошло сегодня вечером, не заканчивается сегодня вечером. Такие вещи не заканчиваются. Они начинаются.

Она сделала последний глоток вина.

Смолистый привкус на губах. Тепло — спустившееся вниз, осевшее где-то в груди, рядом с тем, что она несла.

Первый вдох.

Она улыбнулась — Танечке, Лиде, рыжей Ольге с её внимательными глазами — и улыбка была настоящей. Не потому что она справилась с собой. А потому что внутри, за маской и за сдержанностью, и за тем профессиональным спокойствием, которое она так умело носила, — что-то наконец ожило. Тихо. Без лишних слов. Как оживает что-то, что очень долго было заморожено и вдруг почувствовало тепло.

Она не хотела останавливать это.

Даже зная, что огонь жжёт. Особенно зная.

Глава 6. Правила, которые он устанавливает

Красное платье несло её обратно к столу — и в этом несении было что-то почти механическое, почти профессиональное: ровная спина, лёгкая улыбка, движение сквозь зал с той небрежной грацией, которую выучивают не на курсах, а через годы, когда учишься держать себя в руках, потому что больше некому.

Внутри было иначе.

Внутри — тонкая, почти нематериальная нить запаха, оставшегося на коже запястья там, где его пальцы держали её чуть дольше, чем требовал танец. Смола. Тёплая кожа. Лёгкая горечь — как у хорошего табака, который она никогда не курила, но вдруг поняла, за что его любят. Она несла этот запах в себе, как несут что-то хрупкое, — без суеты, стараясь не расплескать. Странная бережность по отношению к тому, чего не существует. По отношению к молекулам воздуха.

Она опустилась на своё место.

— Девочки, а вы помните, как Серёжа Котов на выпускном уронил торт? — говорила Танечка, уже разливая шампанское, с той энергией человека, которому достаточно самого факта застолья, чтобы быть счастливой. — Прямо на Зинаиду Борисовну. Весь крем — в причёску. Она стояла и только моргала.

Смех вокруг стола был настоящий, тёплый, с привкусом ностальгии и лёгкого вина. М. засмеялась тоже — и удивилась, что смех получился настоящим. Мышечная память тридцати лет совместного детства работала безотказно: услышала имя Котова и отозвалась сама.

Но краем зрения — непроизвольно, как язык находит ноющий зуб — она поймала силуэт у дальней стены.

Он стоял там. Смеялся чему-то, что говорил приятель. Руки в карманах. Абсолютно спокоен — так, как будто последние полчаса не существовали. Как будто не было её руки на его плече, не было того полушага навстречу и полушага назад, не было паузы, в которой они оба стояли — и оба знали, что стоят.

Это ударило её острее, чем могло бы ударить его волнение.

Волнение — это было бы понятно. Это было бы зеркало. А спокойствие — это была пропасть между тем, что происходило в ней, и тем, что не происходило в нём. Или — и эта мысль была ещё страшнее — тем, что он умел прятать значительно лучше, чем она.

Я дышу им.

Мысль пришла без предупреждения, без разбега. Просто — появилась. Тихая, точная, неопровержимая, как диагноз.

Я дышу им.

И тут же — следом, почти вплотную — испуг. Не паника. Именно испуг — детский, искренний, тот самый, который случается, когда оступаешься на лестнице и на долю секунды теряешь землю под ногами. Она тридцать лет не позволяла себе вот этого — такого, без дна, без страховки. Она давно разучилась. Или думала, что разучилась.

— Красиво танцевала, — сказала Лида.

Тихо. Без нажима. Без улыбки, которая намекала бы. Просто констатация — брошенная между тостом Танечки и звоном бокала рыжей Ольги. Лида не смотрела на неё в этот момент. Занималась шампанским.

М. сделала глоток.

— Он хорошо ведёт, — сказала она.

И всё.

Ольга подняла бокал. Танечка уже переходила к истории о том, как Котов потом весь выпускной прятался за колонной. Лида кивнула чему-то своему.

Они всё поняли. И сделали вид, что нечего было понимать. Это был женский договор, заключённый без слов, — один из тех, которые дороже многих произнесённых вслух.

Вечер клонился к концу. Объявили последний медленный — ведущий произнёс это с той особой интонацией, которая бывает только на подобных вечерах, между советской эстрадой и современным ретро-плейлистом. Несколько пар поднялись с мест. Кто-то смеялся, кто-то уже прощался у гардероба.

М. не смотрела в сторону дальней стены.

Она налила себе воды и смотрела в бокал. Но знала — с той странной телесной точностью, которая не требует зрения, — где он стоит. В каком именно месте зала. На каком расстоянии от неё. Это знание сидело где-то между лопатками — тихое, тёплое и совершенно лишнее.

Пугающее.

Согревающее.

Ещё утром его не существовало в моём мире, — подумала она. *Я ехала сюда и думала о дороге, о снеге, о том, захватила ли зарядник. А теперь — знаю, где он стоит, не глядя.*

Весь вечер она чувствовала его взгляд — не навязчивый, не грубый, но неотступный. Когда она говорила с кем-то из мужчин у соседнего стола, он каким-то образом оказывался рядом — не подходя, не вмешиваясь, просто присутствуя, как магнитное поле, которое не видишь, но чувствуешь компасом. Она несколько раз пробовала найти пути отступления — за чашкой кофе, в разговоре о другом, в перемещении в другой конец зала, — и каждый раз что-то не давало ей уйти по-настоящему. Не слова. Не жест. Просто — то, что уже случилось между ними и теперь никуда не девалось.

К полуночи зал начал редеть.

У входа — шубы, смех, запах зимы с улицы, звонки такси. Прощания растягивались, как это всегда бывает с прощаниями, которых не хочется: обнялись, уже пошли, вернулись, ещё раз обнялись.

Она накинула шубу. Попрощалась с Танечкой — долго, по-настоящему, с обещанием не ждать ещё тридцать лет. Обнялась с Лидой. Рыжая Ольга сжала её руку и ничего не сказала — только посмотрела, и в этом взгляде было столько понимания, что М. едва не дрогнула.

Снаружи был февральский мороз и синяя ночь.

Она достала телефон — вызвать такси — и в этот момент он оказался рядом. Просто оказался. Без вступления.

— Тебе куда?

— Домой. Утром — Москва.

Пауза. Короткая — на вдох.

— Я тоже домой, — произнёс он. — Садись, отвезу.

Не «могу подвезти» и не «хочешь, довезу». Просто — *садись*. Как будто это уже было решено где-то раньше, без её участия — или с её участием, но так давно, что она не помнила, когда именно согласилась.

Она убрала телефон.

Дорога до её дома оказалась короткой. Машина пахла кожей и — едва уловимо, фоном, почти неразличимо — тем же, чем пах он. Смолой. Теплом. Горечью, которая почему-то не была горькой.

М. смотрела в боковое стекло — на синий снег, на фонари, на спящий провинциальный город, который когда-то был её городом и теперь стал просто местом, куда приезжают раз в тридцать лет. Она думала о завтрашнем утреннем выезде, о трассе, о том, что в Москве её ждут дела, сын, жизнь — её настоящая, выстроенная по камешку жизнь.

И одновременно она не думала ни о чём из этого.

Потому что они оба знали — и он знал, и она знала, просто никто не произносил этого вслух — что живут в одном городе. Что расстояние, которое казалось защитой, никакой защи-

той не является. Что сегодняшний вечер не закончится здесь, на засыпанной снегом улице провинциального городка, у входа в её дом, где горит один-единственный тусклый фонарь.

Такие вещи не заканчиваются.

Они начинаются.

* * *

Трасса уходила на северо-восток, прямая и пустая, как февральская мысль.

По обе стороны — поля. Белые, без единой тени, без единого ориентира. Небо над ними было такого же белого цвета, только чуть более мягкое, чуть более живое — и граница между землёй и небом не читалась вовсе, словно мир сложился пополам и забыл, где у него верх.

М. ехала в левом ряду, скорость чуть выше разрешённой, руки лежали на руле свободно — запястье к спице, не сжимая. Так она всегда ездила, когда нужно было думать. Машина давала ей то, чего не давало ничто другое: движение вперёд при полном праве молчать.

Музыку она включила у самого выезда из города. Какой-то джаз — привычный, фоновый, с глуховатым контрабасом на второй план. Через три минуты выключила.

Тишина была честнее.

Телефон лежал на пассажирском сиденье экраном вниз. Она не смотрела на него — так, как не смотрят на что-то важное, намеренно, с усилием. Пробовала считать километры. Пробовала вспоминать, что нужно сделать в понедельник: отчёт, встреча с кадровиком, звонок подрядчику. Понедельник казался очень далёким и очень незначительным.

Не жди, — сказала она себе. — *Нет никакого основания ждать.*

Оснований действительно не было. Один вечер танцев. Короткая поездка на несколько кварталов, машина, пахнущая кожей и — едва уловимо, почти неразличимо — тем самым запахом, который она уже знала наизусть и который не просила себя запоминать. «Садись», — и она села. Вот и всё.

Но руки на руле помнили тепло его ладони — там, где она лежала у неё на талии. Не крепко. Не настойчиво. Просто — как будто там и должна была лежать.

Она прокручивала это снова: то, как он произнёс её имя. Не представляясь, не начиная заново — просто произнёс, как называют что-то новонайденное, что хочется назвать, чтобы убедиться: оно существует. Задержавшиеся пальцы при прощании — на долю секунды дольше, чем нужно, ровно настолько, чтобы можно было списать на случайность, и ровно настолько, чтобы нельзя было.

Каждая деталь — как улика. Она боялась потерять их, боялась, что они сотрутся, как стираются подробности снов к середине дня. Поэтому перебирала снова и снова: ладонь, имя, пальцы, запах смолы и горечи, которая не была горькой.

Прекрати, — велела она себе.

Прекратить не получалось.

Москва встретила её так, как встречает всегда: без сентиментальности, без интереса к тому, откуда приехала и что с ней случилось. Пробки начались за МКАД — серые, плотные, с красными огнями стоп-сигналов, с мокрым асфальтом, отражающим фонари. Небо над городом было не белым, как над полем, а тёмно-жемчужным, с желтоватым подбрюшьем от огней.

Она стояла в пробке и смотрела на чужую заднюю дверь чужого автомобиля. Думала — без слов, просто чувствовала — что ещё вчера в это время она была там, в маленьком зале, где играла музыка и пахло едой и чужими духами, и он стоял у дальней стены и смеялся с кем-то, и она видела его краем зрения, и это краем-зрения-видение занимало в ней места больше, чем всё остальное вместе взятое.

Припарковалась у своего дома — и не вышла.

Просто сидела. Двигатель выключен, стекло начало запотевать изнутри — медленно, с краёв. Снаружи шёл мелкий снег, почти незаметный, почти несуществующий — такой, что и снегом-то не назовёшь, скорее воздух стал плотнее.

Заходить не хотелось. Там её ждала квартира — её квартира, каждая вещь в которой выбрана сама, без чужого голоса, без чьего-то вкуса, навязанного поверх её собственного. После развода она обставляла её долго и с удовольствием, с тем особым тихим торжеством человека, который наконец получил право выбирать. Книги — туда. Кресло — сюда. Никаких компромиссов.

Сегодня она казалась ей очень тихой, эта квартира.

Двадцать пятый этаж.

Лифт поднимался медленно — или ей так казалось. Она держала чемодан за ручку и смотрела на стыки между панелями, на собственное отражение в полированной двери: женщина в шубе, причёска чуть растрепалась в дороге, помада почти сошла. Усталая. Живая.

Живая, — повторила она про себя, и это слово прозвучало внутри как-то по-другому, чем обычно. Не просто констатация. Что-то большее.

Она думала об этом часто — с тех пор, как вышла из больницы во второй раз, с тех пор, как отец произнёс во сне то, что произнёс, с тех пор, как она стояла у моря и понимала, что ещё немного — и стоять было бы некому. Живая. Выжившая. Восставшая.

Но восставшая для чего?

Квартира встретила её темнотой и запахом кофе, который она варила позавчера утром. Она прошла в комнату, не зажигая верхнего света — только торшер у окна, мягкий, янтарный. Бросила шубу на кресло, чемодан поставила у стены. Подошла к окну.

Москва лежала внизу — бесконечная, светящаяся, равнодушная к тому, что у неё внутри. Где-то там, в этих огнях, в этих улицах, в этом городе, который оба называли своим, — он тоже ехал. Или уже приехал. Или ужинал, или разговаривал с кем-то, или просто жил своей жизнью, большой и плотной, в которой она не занимала никакого места.

Пока.

Она не додумала это слово. Просто оно возникло, и она не стала его прогонять.

Телефон лежал на подоконнике — там, куда она его положила, когда подошла к окну. Москва светилась внизу ровно и безучастно, тысячи окон, тысячи чужих вечеров, и она стояла над всем этим на двадцать пятом этаже и смотрела в огни, и ничего не ждала.

Или — ждала. Но так, как ждут снега в январе: зная, что он будет, не зная когда, не торопя.

Когда телефон завибрировал — коротко, один раз, — она не вздрогнула. Просто подняла его с подоконника, посмотрела на экран.

Telegram. Незнакомый контакт — без имени, только номер. Московский.

Сообщение было простым до обескураживающего.

Привет, как дела

Без знака вопроса. Без имени. Три слова, которые ничего не значат и при этом значат всё — если знаешь, кто их написал.

Она перечитала их. Потом ещё раз. Потом поняла, что уже читает в четвёртый раз, и опустила телефон на колени, потому что подоконник стал казаться ненадёжным, и вообще лучше было сесть. Она опустилась на пол прямо у окна, прислонившись спиной к стене, и держала телефон двумя руками — как держат что-то, что может разбиться или улететь.

Привет, как дела.

Внутри поднялось тепло — острое, почти болезненное; такое бывает, когда долго мёрзнешь и вдруг попадаешь в тепло: сначала не радость, а почти боль в отмерзающих пальцах, и только потом — облегчение, и благодарность, и что-то ещё, чему нет точного слова. Она

сидела на полу своей квартиры, в темноте, только торшер горел в углу, и Москва светилась за стеклом, и это тепло поднималось откуда-то из середины груди и никуда не уходило.

Она дала себе время. Ровно столько, чтобы дыхание выровнялось. Чтобы голос внутри зазвучал не взволнованно, а просто — как у человека, которому написал знакомый. Просто знакомый. Просто написал.

Потом набрала ответ.

Привет, отлично

Тоже без знака вопроса. Тоже — больше ничего. Зеркало его языка, его краткости, его интонации. Она нажала «отправить» и почувствовала, как что-то щёлкнуло — не в телефоне, внутри. Как будто замок. Как будто дверь, которая открылась с тихим, почти неслышным звуком.

Они оба знали, что это начало.

Переписка разворачивалась медленно — как танец, в котором оба партнёра хорошо помнят, что такое ритм, и никуда не торопятся. Он спросил, добралась ли она. Она ответила — да, за рулём, дорога была пустая, почти без машин. Написала, что любит ночную Москву именно так — когда она не толкается. Он написал, что тоже только что вернулся, что въезжал по Садовому и думал о том же.

Обычные слова. Самые обычные. Но каждое несло что-то ещё — второй слой, как в хорошей музыке: слышишь мелодию, и только потом, если прислушаться, обнаруживаешь контрапункт. *Добралась ли ты.* Это не вопрос о дороге — это *я думал о тебе, пока тебя не было рядом*. *Тоже только что вернулся.* Это — *мы движемся параллельно, в одном городе, в одну ночь*.

Она отвечала и чувствовала, как внутри что-то оттаивает — медленно, слой за слоем, как промёрзшая земля в марте, которая ещё не знает, что весна уже решена.

Потом пришло сообщение, которого она не ожидала.

Несколько строк — коротких, неровных по длине, без объяснений и предисловий. Стихи о зимней дороге и огне, который не гаснет. О том, как темнота за стеклом несёт в себе что-то живое. О том, что некоторые встречи случаются не вовремя и именно поэтому — навсегда.

Она прочитала один раз. Потом ещё.

Это была не цитата. Она знала это с той же уверенностью, с которой узнала его запах в первую секунду танца — без объяснений, без доказательств, просто знала. Это его. Он написал это — может быть, только что, может быть, давно и держал при себе, а теперь отпустил, просто так, без церемоний, как будто это нормально — писать стихи и отправлять их ночью незнакомой женщине, которую видел один раз, восемь часов назад, в маленьком провинциальном зале, где пахло накрахмаленными скатертями и чужой молодостью.

Внутри сжалось что-то такое острое, что она на секунду закрыла глаза.

Нежность. И страх. Одновременно, в один узел — так, что не разобрать, где одно, где другое.

Это не цитата, — поняла она. — *Это он. И он знает, что я это пойму. И я знаю, что он знает.*

Вот что было страшнее всего — не стихи, не запах, не то, как он произнёс её имя, прощаясь. Страшнее всего было это: что они понимали друг друга без объяснений. Что можно было не расшифровывать, не переспрашивать, не строить мостов — мост был уже, сам по себе, как будто его навели ещё до того, как они познакомились. Как будто где-то в параллельных классах, в коридорах одной школы, в одном маленьком городе, где они прожили рядом и ни разу не встретились взглядом, — что-то уже происходило. Готовилось.

Она написала ему — коротко, в тон. Что строки о дороге — её. Что она тоже думала об огне, пока ехала. Что некоторые слова умеют греть на расстоянии.

Отправила. Положила телефон рядом с собой на пол.

Москва светилась за окном. Торшер горел в углу. Тихо.

Она не помнила, когда пересела с пола на диван, — просто в какой-то момент оказалась там, с телефоном в руке, и экран уже не светился, и переписка остановилась на его последнем коротком слове: *Спокойной ночи, душа моя.*

Душа моя.

Она не ответила ничего. Просто смотрела на эти слова в темноте, пока экран не погас сам.

Я уже прикипела, — поняла она — не как открытие, не как признание себе, а как что-то давно известное, просто наконец названное вслух, внутри, в темноте этой тихой квартиры на двадцать пятом этаже. — *Это случилось раньше, чем я успела решить. Раньше, чем я вообще поняла, что надо было что-то решать.*

Телефон лежал в её руке, тёплый и тяжёлый.

За окном горела Москва.

* * *

Утренние сообщения вошли в её жизнь так тихо и так неотвратимо, как приходит рассвет — не в тот момент, когда его замечаешь, а раньше, когда всё уже началось, просто ты ещё спала.

На третий день она поймала себя на том, что просыпается не от будильника. Просыпается — и сразу тянется к телефону. Ещё в темноте, ещё не понимая, который час, ещё не отпустив сон окончательно, — уже ищет экран рукой, уже знает, зачем.

Свет очей моих — писала она ему в то зыбкое время, когда Москва ещё не проснулась, а ночь уже отступала неохотно, оставляя за собой сизую полутьму за окном.

Душа моя — отвечал он. Всегда. Иногда через минуту, иногда через двадцать — но всегда.

Она не знала, где он в этот момент. Не спрашивала. Этот вопрос жил где-то на самом дне — тяжёлый и молчаливый, как камень на речном дне, который не мешает воде течь, но существует, и ты знаешь о нём.

Они писали друг другу о разном: о погоде, о дороге, о том, как выглядит Москва в феврале — серая, усталая, с тем особым светом, который бывает только в конце зимы, когда солнце уже есть, но ещё не греет. Он присылал строки — иногда чужие, иногда свои, она научилась отличать их безошибочно. Она отвечала. И каждый раз это было как шаг по льду, который выдерживает, — с восторгом и с тихим ужасом.

Через несколько дней она позвонила ему сама.

Это был импульс — не решение. Она ехала в машине по Садовому, стояла в пробке, и вдруг его голос зазвучал у неё в голове — не слова, просто голос, его тон, его темп, то, как он произносил её имя, прощаясь в тот последний вечер в провинциальном зале с накрахмаленными скатертями. И она захотела настоящего звука. Не букв на экране — живого голоса, прямо сейчас, в машине, в пробке, в сером феврале.

Она нажала вызов раньше, чем успела себя остановить.

Он взял трубку сразу.

— Да.

Одно слово. Но она услышала в нём всё — уловила то едва заметное движение, паузу, которая была на полсекунды длиннее нужного. Не раздражение — нет. Скорее настороженность. Или что-то, что ей не следовало слышать.

— Привет, — произнесла она. — Я просто... хотела услышать голос.

— Слышишь, — ответил он — и в этом тоже было что-то особенное: не жёсткость, но твёрдость. Спокойствие человека, который знает, что скажет дальше, и не торопится.

Они поговорили. Немного, о пустяках — о пробке на Садовом, о том, что в феврале в Москве всегда одно и то же. Потом он произнёс:

— Подожди.

Пауза. Она слышала фоновые звуки — не разобрать какие. Потом снова его голос — тише, ровнее, очень чёткий:

— Звонить первой не надо. Хорошо? Пиши — я отвечу. Или сам позвоню. Но звонить — не нужно.

Не вопрос. Не просьба. Условие, произнесённое без интонации извинения, без объяснений — с той же спокойной неотвратимостью, с которой говорят о вещах, которые просто есть.

Она молчала секунду. Пробка медленно двинулась вперёд.

— Хорошо, — ответила она. — Я поняла.

Её собственный голос прозвучал ровно. Она сама удивилась — насколько ровно.

После того как он попрощался и в трубке стало тихо, она ещё некоторое время держала телефон у уха. Потом медленно опустила его на сиденье рядом.

Она понимала. Это понимание пришло сразу — не через боль, а через холодную ясность, которая хуже боли. Он женат. Это не каприз, не игра в недоступность, не проверка её характера. Это его жизнь — со всеми её невидимыми стенами, расписанием, чужими ушами в нужный момент. Телефонный звонок в неподходящий час — это риск. Риск, который он не может нести, а значит, она не может ему его предлагать.

Вот как это устроено, — сказала она себе. — *Запомни. Это важно.*

Вечером она стояла у окна в своей квартире на двадцать пятом этаже.

Москва светилась внизу — неравномерно, как всегда: где-то ярко и бессмысленно, где-то тускло и по делу. Огни двигались, расплывались в стекле, двоились. Она держала в ладонях чашку с чаем, который давно остыл, но не ставила — просто держала, потому что тепло ещё не ушло окончательно.

Она перебирала то, что у неё есть.

Его утренние слова — *душа моя* — каждый день, без пропусков. Его стихи: те, которые он присылал ночью, и те, которые она угадывала за чужими строками, потому что он выбирал их так, чтобы она угадывала. Его запах — смола, тёплая кожа, едва уловимая горечь — она всё ещё помнила его, как будто не прошло пяти дней, как будто он стоял рядом. Его голос сегодня в трубке: ровный, чёткий, живой.

Вот что у неё есть.

А чего нет — она тоже знала. Права позвонить, когда молчание становится невыносимым. Права в три ночи, когда просыпаешься от какого-то внутреннего грохота и хочешь просто услышать: *я здесь, всё хорошо, я здесь*. Права на первый звонок.

Это несправедливо.

Она произнесла это про себя — спокойно, без гнева, как произносят что-то давно известное. *Это несправедливо. И я принимаю это.*

Не потому что слабая. Не потому что не понимает. Именно потому что понимает — полностью, до дна, без иллюзий. Он там, где он есть, и это его жизнь, и она ничего не может изменить в его жизни — да и не её это дело, менять чужую жизнь. У неё есть то, что есть. Его слова. Его голос. Его запах в памяти. Этот странный, невозможный мост между ними, который возник раньше, чем они успели познакомиться.

Этого достаточно, — сказала она себе.

Она не была уверена, что это правда.

Телефон лежал на столе — молча, экраном вниз. Она смотрела на него поверх чашки. Где-то в ней жил импульс — такой же, как утром в пробке на Садовом: взять, набрать, услышать.

Она не взяла.

Это был её первый осознанный выбор внутри его правил. Сделанный не из покорности — из понимания. Из того же холодного, горького, совершенно отчётливого знания, с которым она в своё время научилась проживать другие невыносимые вещи: что некоторые двери не

открываются изнутри, и единственное, что можно сделать, — это решить, стоишь ли ты за ними или нет.

Она стояла.

Огни Москвы плавились в стекле. Чай окончательно остыл. Она поставила чашку на подоконник и прижалась лбом к холодному стеклу — на секунду, просто чтобы почувствовать что-нибудь настоящее. Стекло было ледяным, почти обжигающим от холода, и этот холод против лба был яснее любой мысли.

Свет очей моих, — подумала она. — *Что ты со мной делаешь.*

Ответа не было. Телефон молчал.

Она не позвонила.

* * *

Наташа позвонила первой — как всегда, без предисловий, без «ты не занята?».

— Мы у Паулины. Через час. Ты идёшь.

Это не было вопросом.

М. стояла у окна со стаканом воды, смотрела на Москву, которая в сумерках становилась похожей на что-то почти живое — тысячи огней, тысячи жизней, все параллельные, все тайные по-своему. Она собиралась провести вечер одна. С книгой, которую третью неделю не могла дочитать. С мыслями, которые всё равно двигались по одному кругу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.